Глеб Ратников

ПРАВО МЁРТВОЙ РУКИ

Шестой круг. Книга первая



Глеб Ратников

Право мёртвой руки

«Автор»
2026

Ратников Г.

Право мёртвой руки / Г. Ратников — «Автор», 2026

Двадцать два года Ровен читал вслух слепому хозяину. В кабалу его продал отец, за долг, когда мальчику было девять. За эти годы Ровен выучил язык, на котором вежливо поют белые фарфоровые машины ушедших Хозяев. «Просим не препятствовать» — так говорит машина, которая сейчас кого-то раздавит.В ночь, когда хозяина отравили, старик взял чтеца за руку и сказал одно слово. Теперь у беглого кабального печать шестого круга, и машины слушаются его голоса. Каждая команда сжигает соль в теле и греет кровь: на тридцати девяти трясутся руки, на сорока одном человек сгорает.Брат покойного всем говорит, что печать у него. Через сорок дней ложь вскроется, если он не возьмёт настоящую. Способ один: держать Ровена за руку, пока тот умирает.Ровен уходит в Глушь, где машины шестьсот лет выполняют приказы мёртвых: пастух загоняет людей в загон вместе со скотом, каменщик замуровывает больных. Там нужна его работа. Там его и ищут.Книга первая цикла «Шестой круг».

© Ратников Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Вода для голоса 5
Глава 2. Слово руки 11
Глава 3. Решётка 16
Глава 4. Притолока 21
Глава 5. Ржавь 27
Глава 6. Водопой 35
Глава 7. Книга загона 40
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Глеб Ратников
Право мёртвой руки

Глава 1. Вода для голоса

Тягач объявил поворот за сорок шагов до перекрёстка, и на всей Солёной улице его понял один Ровен.

«Внимание. Объезд. Следующий поворот — направо, в Соляной ряд. Просим не препятствовать движению».

Голос был женский и тёплый, таким уговаривают ребёнка выпить лекарство. Шёл он из-под белой маски на передке машины, из узкой прорези, где у человека был бы рот. Сам тягач был ростом с вола и вдвое длиннее, гладкий, без единой щербины, с золотыми швами по бокам, и шестьсот лет возил по Брину камень, уголь и бочки Реестра.

Машины остались от Хозяев. Хозяева ушли шестьсот двенадцать лет назад, куда — не знает никто, и в летописях об этом стоит одно слово, Уход. Машины остались и работают до сих пор: светят, греют, возят, сторожат. Говорят они по-хозяйски, и люди зовут это пением, потому что слов в нём не слышат. Слова слышали толмачи при Церкви и ещё Ровен, который двадцать два года читал хозяйские книги вслух.

Про тягач на Солёной знали одно: ходит прямо, до Рыбного моста, каждый день после третьего колокола, а когда поёт — отойди к стене, как от телеги без возчика. Сегодня у моста лежал на боку воз с капустой, кочаны раскатились на половину мостовой, и прямо дороги не было.

Ровен стоял у входа в Соляной ряд, корзину поставил на крыльцо скобяной лавки, чтобы не таскать в толчее. Ряд был шириной в три шага: лотки с двух сторон, между лотками разносчики, бабы с вёдрами, мальчишка с гусем под мышкой. Посередине — девочка лет десяти с лотком пирожков на ремне.

«Поворот через двадцать шагов. Благодарим за терпение».

Двадцать шагов тягач проходит за восемь ударов спокойного сердца. Ровен считал по своему, и выходило меньше.

— С дороги! — крикнул он в ряд. — Он сюда поворачивает!

Обернулись три головы.

— Куда это он поворачивает? — Баба с вёдрами оглядела его с головы до ног и засмеялась. — Он, милый, отродясь не поворачивал.

Колец у крикуна на руке не было, один медный браслет кабального — слуги, проданного за долг. Голорукий учил Солёную, куда ходят машины.

Ровен пошёл в ряд шагом, бегущего тут толкнули бы. Девочку он взял за ремень лотка и потянул к себе. Она упёрлась.

— Пусти! Пирожки!

— Пирожки твои, — сказал Ровен. — А ноги чьи?

Позади хрустнуло. Тягач повернул. Он поворачивал медленно и широко, белый бок наплывал на ряд, и лотки складывались под ним, как пустые ящики: доска, ещё доска, связка лука, корыто с рыбой. Голос продолжал говорить, ласково и громко, но теперь его перекрывал крик.

Ровен втиснул девочку в щель между двумя домами, в жёлоб для стока, и встал перед ней спиной к стене. Мимо, в ладони от лица, прошёл фарфоровый бок. Бок был тёплый. От него пахло горячим камнем и чем-то кислым, вроде медных монет.

Маска проплыла мимо и к Ровену не повернулась. Машины слушаются окольцованных — тех, у кого в руке печать, серебряная сетка под кожей от запястья к локтю, хозяйская вещь, вросшая в тело. Остальных, пустых, они видят как скотину на дороге: есть где объехать — объедут, нет — не объедут. Ровен был для них скотиной тридцать один год.

«Просим пешеходов сохранять спокойствие».

Тягач ушёл в конец ряда, к Соляной площади, и в ряду стало тихо, если не считать одного голоса. Кричал мужик в фартуке, хозяин скобяной лавки, на чьём крыльце стояла корзина. Он сидел на мостовой и держался обеими руками за колено. Ниже колена держаться было не за что.

Ровен посмотрел ровно столько, сколько нужно, чтобы запомнить, и присел к девочке.

— Цела?

Она кивнула. Лоток висел на ремне пустой. Пирожки лежали в грязи, и по ним уже прошли.

— Как ты знал? — спросила она шёпотом.

— Он сказал.

— Машины не говорят. Они поют.

— Тогда он спел, — сказал Ровен. — Очень внятно.

Корзина стояла на крыльце, куда тягач не достал. На ней был знак дома Хальс, серебряный круг с шестью насечками, и пока в ряду кричали, к ней никто не протянул руки. Хальс был окольцованный шестого круга, а выше шестого только седьмой. Ровен взял корзину и пошёл на площадь.

* * *

Соляная лавка Реестра стояла на площади, где тягач закончил объезд. Теперь он стоял смирно, белый и чистый, и ждал, когда ему освободят дорогу.

В лавке пахло мелом и мокрыми плащами. Белую соль ели окольцованные. Кормится печать телом хозяина, а соль ей нужна для дела: каждая команда машине сжигает щепоть, как лампа сжигает масло. Продаёт её один Реестр — палата, которая ведёт учёт всех печатей королевства, — и только тем, кто у него записан. За прилавком стояли белые лари с замками, на каждом надпись: «Для первого и второго», «Для третьего и выше», «По особой записи». Последний ларь на весь Брин открывали для одиннадцати домов.

За ларями стоял Груббе, толстый, с рукавом, закатанным до локтя, чтобы всем было видно кольцо. Кольца на предплечье показывают, сколько кругов печати проснулось; сама печать бывает и выше, но машинам до спящих кругов дела нет. У Груббе кольцо было одно и блестело тускло, как пятак в луже, — первый круг, которому послушны ларь, замок да книга, в которой Груббе расписывался для Реестра.

— Чья?

— Дома Хальс. По особой записи. Сто шестьдесят граммов.

Груббе повёл пальцем по книге. Палец остановился.

— Седьмого числа брали. Сто шестьдесят. — Груббе поднял голову. — Шестой круг берёт сто шестьдесят на месяц. Твой хозяин берёт второй раз. Куда он её девает, голорукий? Огурцы солит?

Ровен думал о том же ещё на прошлой неделе. Хозяин с весны не выходил из дома и не командовал ничем крупнее домашних светцов, хозяйских фонарей. Фонарь и замок слушаются первого круга; шестому послушна погода над целым краем, и сто шестьдесят граммов он сжигает, если двигает эту погоду или поднимает мост. Хальс сидел в кресле и слушал, как ему читают.

— Его кольцо мне не докладывает, — сказал Ровен. — Хотите, спрошу? Он, правда, не любит, когда его спрашивают от чужого имени. В позапрошлом году спросили от имени одной лавки, так лавку потом месяц ревизовали.

Никакой лавки в позапрошлом году не ревизовали. Груббе прикинул, во что обходится месяц ревизии, и молча открыл ларь.

Гирьки на весах были с орех и тоже в масках, только крошечных. Одна пискнула: *«Вес подтверждён. Благодарим за покупку».* Груббе после писка завернул. Что сказала гирька, он не знал и не спрашивал.

Ровен отсчитал шестнадцать марок из кошелька Хальса. Своих у него не было с девяти лет, с того утра, когда родители довели его до ворот на Рыбном канале. Мать держала его за руку до самых ворот. Отец получил расписку и ушёл не обернувшись. Мать обернулась.

На медном браслете на левом запястье было выбито имя дома и номер кабальной записи, 1214. Запись была на двадцать пять лет, и до её конца оставалось три года и сорок один день. Ровен пересчитывал их каждый вечер и ни разу не сбился. Он и то знал, что сделает в первый свободный день: придёт на Солёную, купит пирожок и съест его стоя, ни у кого не спросив разрешения.

Когда он вышел, тягач уже уходил к мосту. *«Благодарим за терпение».*

Хозяина скобяной лавки унесли.

* * *

Ланц Ведер приехал после полудня, на ежегодную опись словника.

Словником в домах окольцованных зовут собрание хозяйских слов. Печать без слов — что рот без языка: машине надо сказать, что делать, и сказать по-хозяйски. Уложение, главный закон Реестра, велит раз в год пересчитывать каждый том, и Ведер приезжал считать.

Понятой Реестра был седой, сухой и аккуратный, в сером мундире без единой складки, в серых перчатках с застёжкой на запястье. Рукава понятым шили с разрезом, обшлаг откинут, и под ним на предплечье лежали три ровных кольца.

Таких, как он, зовут к смертному одру каждого окольцованного. Печать у живого не отнимешь, а у мёртвого она уходит к первому, кто коснётся его ладони, и понятой следит, чтобы это была рука наследника, записанного в Реестре. Нет наследника или Реестр решил иначе — ладонь мёртвого первым берёт хранитель, пустой слуга Реестра, которого понятой привозит с собой. Сам понятой ладони не тронет, у него своя печать. Хранитель увозит чужую в себе, в столицу, в Хранилище, и живёт там с ней живым сундуком, пока Реестр не решит, кому её отдать. Чтобы стоять у одра, третьего круга хватает. Чтобы спорить с шестым — нет.

Опись заняла четыре часа, и Ровен простоял их с лампой. Ведер брал том, открывал на случайной странице и ставил галку. Говорил он мало. На двести шестом томе остановился.

— Пометка на полях. Ваша рука?

— Моя. Мастер диктует, я пишу.

— «Не сакт, а сакет», — прочёл Ведер вслух. Хозяйское слово он выговорил плоско, по буквам. — А как у Ольдена?

Ольден, старый толмач, триста лет назад составил словник, по которому с тех пор учат всех окольцованных. У Ольдена было написано разборчиво.

— У Ольдена неразборчиво, ваше кольцо.

Так в этом доме отвечали гостям, и Ведер, судя по лицу, знал этот порядок не первый год.

— Удивительно, — сказал он. — Пустой, который читает хозяйское письмо с листа. Я в ваши годы читал по слогам. С тремя кольцами.

— Мастер говорит, что голос у меня хороший, а голова плохая. Голос вывозит.

— Голос, — повторил Ведер. Поставил галку и закрыл том.

Перед уходом он зашёл к хозяину, Ровена не позвали. Через дверь был слышен один тон, ровный и вежливый, два старика о погоде. Через четверть часа Ведер вышел, поправил обшлаг и у лестницы спохватился:

— Мои перчатки. Кажется, в библиотеке, на двенадцатой полке. Не сочтите за труд.

Перчатки лежали на двенадцатой полке. Ровен спустился с ними через минуту. Ведер ждал внизу, у открытой двери столовой, и смотрел на стол.

На столе стоял нюхач, фарфоровая птичья голова на подставке, с золотыми ноздрями. Он обнюхивал всё, что подавали хозяину, суп, вино, вечерний чай, и над каждой тарелкой говорил одно и то же: *«Пища безопасна. Приятного аппетита».* За двадцать два года Ровен наслушался этой фразы больше, чем собственного имени. Утром нюхача ставили в столовой, вечером Ровен уносил его наверх, к креслу.

— Хорошая работа, — сказал Ведер. — Старая. Жаль будет, если сломается.

— Они не ломаются, ваше кольцо. Шестьсот лет не ломались.

Этого говорить не стоило. Ведер улыбнулся ему, как ребёнку, взял перчатки и ушёл.

Вечером Берта поставила на стол хозяйский суп. Нюхач промолчал.

Ровен переставил тарелку под самый клюв. Голова не повернулась, ноздри не дрогнули. Он тронул фарфор — холодный, как подоконник зимой.

— Мастер, — сказал он наверху, — нюхач молчит.

— Устал, — ответил Хальс из кресла. — Мне семьдесят восемь, я тоже не всегда говорю. Боишься — ешь сам.

Ровен унёс тарелку на кухню и съел суп сам, до дна, стоя у плиты. Суп был как суп. Хозяин остался без ужина, а Берта обиделась.

* * *

Читали в восемь, после второго вечернего колокола, в хозяйской спальне.

Под полом там лежали две грелки, белые плиты размером с дверь, и пол был тёплый, как бок спящей собаки. В стене у окна сидел ледник, фарфоровый ларь с золотой ручкой, в нём держали лекарства и яблоки. Светец над креслом горел вполсилы — для Ровена, хозяину свет был ни к чему. Нюхач стоял на столике у кресла, где ему полагалось стоять по вечерам, и молчал.

Эдмер Хальс сидел, укрытый пледом до груди. Кто много командует машинами, тот платит серебром: печать разрастается в теле туда, где ей не место, и от руки по коже ползут серебряные пятна, к плечу, к шее, к лицу, и ничем их не сведёшь. У Хальса серебро восемь лет назад дошло до глаз, и глаза стали как две ложки. Теперь оно поднималось по шее к скулам, слева выше, чем справа, и левый угол рта говорил чуть медленнее правого. При светце лицо у хозяина было неровно позолоченное, как маски у его же машин, только живое.

— Двести шестой, — сказал Хальс. — Ведер опять спрашивал про пометку?

— Спрашивал.

— Он каждый год про неё спрашивает. Каждый год ему неразборчиво. Читай.

Хозяйское письмо Ровен читал медленно, с паузами там, где их делали хозяева. Слова у хозяев были короткие и твёрдые, стук ногтем по фарфору.

На строке с пометкой хозяин поднял руку.

— Ещё раз.

— «…и закрепить сакт…»

— Сакет.

— У Ольдена «сакт», мастер.

— У Ольдена написано то, что Ольден написал. А ты будешь говорить то, что говорю я. И в сороковой строке опять «арн-тума». Через «э». Арн-тэма.

— Так нигде не написано.

— Именно поэтому, — сказал Хальс, — я тебе и говорю.

Зачем, Ровен не понимал все годы, что читал ему. Старость, упрямство, давняя ссора с покойным Ольденом? По пустякам Хальс не упрямился, и в остальном его словник был выверен до запятой. Но в сорока девяти словах хозяин требовал ошибку, всегда одну и ту же, и Ровен вёл этим словам отдельный счёт на листке из старой счётной книги, сложенном вчетверо и заложенном под обложку дорожного словника.

— Вода, — сказал Хальс.

Ровен налил из кувшина. Хозяин велел заваривать её с начала месяца, три недели назад, и звал водой для голоса; каждый вечер Ровен выпивал кружку. Вода была мутноватая, горькая, с привкусом мела, и от неё ныли зубы.

— Не морщись. У чтецов к сорока садится голос, а тебе тридцать один. Мне нужно, чтобы ты успел дочитать.

Ровен выпил. Горечь осталась на языке, как всегда, на час.

В дверь постучали в девятом часу, и по коридору пошёл голос, высокий, мягкий, с одышкой. Ровен узнал бы его с другого берега канала.

— …Да не надо меня провожать, Берточка, я дорогу к брату знаю…

Ирвин Хальс вошёл с печальным лицом наготове, полный, румяный с холода, в кафтане по новой моде, с разрезом и откинутым обшлагом. Под обшлагом было голое предплечье, белое и пухлое, без единого кольца. На пустом такой рукав сидел как мундир на пугале.

— Эдмер. Я слышал, как ты кашлял на прошлой неделе. Весь Брин слышал. Я брат, я по праву беспокоюсь.

— Весь Брин не слышал. Ты слышал. Ты всегда слышишь, как я кашляю.

— Злой. Значит, живой. — Ирвин коротко засмеялся и полез в сумку на поясе. — Я тебе принёс. От аптекаря у Северных ворот. Травяной, на меду. За ночь грудь отпускает.

Он поставил на столик глиняную бутылку, обвязанную бечёвкой, и сам налил в чашку. Отвар был тёмный, густой, пах мёдом.

Ровен посмотрел на нюхача. Нюхач стоял в ладони от чашки и молчал.

— Мастер, — сказал Ровен, — нюхач сегодня так и не заговорил.

Ирвин перестал улыбаться.

— Это ты о чём, голорукий?

— О посуде, — сказал Хальс. — Он говорит, у меня посуда сломалась. Помолчи, Ровен.

Хальс протянул руку, нашёл чашку и отпил. Подержал во рту, не торопясь глотать, — подаркам он не доверял и не стеснялся этого. Проглотил.

Потом повернул лицо к Ровену. Слепое, серебряное, неподвижное. Он смотрел так долго, будто видел.

— Мёд липовый, — сказал он. — Остальное не разберу.

И сделал второй глоток.

— Что твой аптекарь туда кладёт, Ирвин?

— Секрет ремесла. Я не спрашивал.

— Напрасно.

Ирвин посидел ещё. Пожаловался на цены на овёс. Рассказал, что у Варров опять родилась девочка.

— И опять пустая, представь. Будто кто-то ждал другого.

— Другого не бывает, — сказал Хальс.

С печатью не рождаются, её берут только из мёртвой руки; это в Брине знал каждый, и Ирвин знал, но ему хотелось говорить. Он рассказал про мост у Ольхов, который на прошлой неделе снова сложился под обозом, третий раз за год. Хальс отвечал односложно. Ровен стоял у стены с томом и смотрел на чашку.

Гость ушёл в начале десятого. Бутылку оставил.

— Читай, — сказал Хальс. — Со строки сорок.

— «…арн-тэма, когда смотритель…»

Ровен остановился. Хозяин тянулся к столику и не мог взять чашку: пальцы прошли мимо ручки раз, потом второй, чашка закачалась, и тёмная капля упала на плед.

Руки у мастера дрожали — мелко и часто, как у человека, который долго нёс тяжёлое.

— Ровен, — сказал Хальс очень спокойно. — Запри дверь.

Глава 2. Слово руки

Засов на двери спальни был простой, железный, и Ровен задвинул его раньше, чем подумал зачем.

— Не засов, — сказал Хальс. — Замок.

Замок сидел в двери над засовом, белый, с золотым ободком, похожий на закрытый глаз. Для Ровена он всегда был частью двери, вроде петель. Хозяин поднял руку. Плед сполз, рукав халата сполз тоже, и на предплечье, от запястья до локтя, проступили шесть колец, ровных, как обручи на бочке. Вокруг колец и выше, до плеча, кожа была в серебряных пятнах с рваными краями. Пятна Ровен видел каждый день, кольца горящими — от силы раз десять за все годы.

Хальс вытянул палец к двери. Машине приказывают так: палец на неё и слово на хозяйском языке, и если круга хватает, машина слушается. Палец дрожал, и указывать пришлось дольше обычного.

— Тум, — сказал хозяин. И ниже, почти без голоса: — Тум сакет. Тессаль.

Глаз замка мигнул золотым ободком. Из двери тихо и вежливо, как в лавке, ответил женский голос: *«Закрыто. Откроется по слову владельца».*

Ровен перевёл раньше, чем понял, что переводит. «Тум» — стой, спи, закройся. «Сакт», как написано у Ольдена, — навсегда. Хозяин сказал «сакет», то самое слово с его пометки, и замок ответил на него иначе: по слову владельца.

— Мастер…

— Потом. — Хальс опустил руку, и кольца на ней погасли одно за другим, с запястья. — Чашку. И бутылку. В ледник.

— Вам нужна лекарня. Большая, у Реестра на Ратной, Оскар добежит…

Лекарней звали хозяйский короб, в котором за ночь зарастают раны, а большая, говорили, вытягивала и яд.

— Сонный корень, — сказал Хальс. — Пахнет мокрым сеном, а мёд кладут, чтобы запах не учуяли. Им травили, когда я был моложе тебя и глупее. Его не лечат, его не успевают. Час, может, два. Сначала руки, потом ноги, потом хочется спать. Кто уснул, тот уже не проснётся. Чашку, Ровен.

— Вы же поняли. С первого глотка. Я видел, вы поняли.

— Понял.

— Тогда зачем второй?

Хальс помолчал. Левый угол рта у него отставал. На «с» хозяин споткнулся, начал слово заново и вытер губы.

— Затем, что без нюхача они пришли бы снова, — сказал он. — Через неделю. Ночью, с ножом, когда я сплю. И я не выбрал бы руку. — Он тронул себя за щёку, за серебро у самого рта. — И затем, что к весне это дойдёт до языка. Тогда я не скажу ни слова. Ни этого, ни другого. Я считал на год, Ровен. Они посчитали за меня. Значит, сегодня, и значит, как решу я. Чашку.

Ровен взял чашку, на дне оставалось на палец тёмного. Взял бутылку, на две трети полную. Ледник открывался любому, кто мог взяться за ручку, и из белой глубины пахнуло холодом и яблоками. На верхней полке стояли склянки с каплями, на нижней лежали четыре яблока, сморщенные, как стариковские кулаки. Он поставил бутылку рядом с яблоками, а чашку сверху, чтобы не опрокинулась.

— Закрой.

Хальс снова поднял руку. Палец описывал круг размером с ладонь. Шесть колец разгорались медленно, нехотя, снизу вверх.

— Тум сакет. Тессаль. — И ещё одно слово, длинное, из тех, что Ровен встречал только в последних томах и ни разу не слышал вслух: — Эн-тессаль-ори.

У самой ручки ледника была маска, с ноготь. Ровен знал о ней и ни разу не видел, чтобы она шевелилась. Теперь она повернулась к хозяину.

«Закрыто, — сказал ледник. — *Откроется по имени печати. Хорошего вечера».*

Хальс уронил руку на плед и задышал открытым ртом.

— Понял?

— «По имени печати». Тессаль — это…

— Имя печати. — Хальс постучал пальцем по погасшим кольцам. — Её звали Тессаль у моего деда, и у его учителя, и у того, кто был до него. Люди меняются. Имя остаётся. Ледник теперь откроет только печать. Не я — печать, в чьей бы руке она ни была. Понимаешь разницу?

Ровен не понимал. Он стоял посреди спальни с мокрыми от отвара пальцами и перебирал: лекарь на соседней улице, Берта, Оскар, Ратная, четверть часа бегом. До лекаря Оскар добежал бы. Обратно — нет.

— Полка над комодом, — сказал Хальс. — Дорожный словник в коже. Возьми. И градусник со столика. Без градусника сгоришь и не заметишь.

Дорожный словник был маленький, в ладонь, в коже, промазанной воском, с медной застёжкой. Градусник — стеклянный, хозяйский, с серебряной нитью внутри, в футляре из рога. Окольцованные мерили им жар: каждая команда греет тело, и на тридцати девяти у них трясутся руки, а на сорока одном печать сжигает того, кто её носит. Ровен взял оба. Зачем кабальному градусник для окольцованных, он не спросил.

— Сядь.

Ровен сел на скамеечку у кресла, на которой сидел каждый вечер. Без книги он не знал, куда деть руки.

— Слушай и не перебивай. — Слова у хозяина становились короче. — Вестник. У Ржави, старая станция. Он носит моё письмо. Найдёшь.

Ржавь — рыжая пустошь, где ничего не растёт. Туда ездят только за контрабандной солью.

— Вестник — это машина-почтальон? Она ещё ходит?

— Я сказал: не перебивай. — Хальс замолчал, и Ровен испугался, что он уснул. Хозяин заговорил снова. — Мои ошибки — не ошибки. Сорок девять. Ты их помнишь. Не смей забыть.

— Не забуду.

— Ледник. Там правда. Вынешь, когда будет кому показать. Не раньше.

— Кому?

— Тому, кто не понятой. — Хальс повернул слепое лицо к двери. — Не верь понятому.

— Ведеру?

— Любому.

Внизу звякнул колокольчик.

Десятый колокол отзвонил с полчаса назад. Берта легла, Оскар храпел в будке у ворот так, что слышно было из сада. Звонили настойчиво, три раза подряд, потом ещё раз. Прошлёпали Бертины туфли, хлопнул засов, и по дому пошёл голос.

— …Простите, ради Хозяев, Берточка. Перчатки у брата забыл. И господин Ведер со мной, был так любезен, ему по дороге… Брату же худо было, ты сама слышала, как он кашлял…

— Вот и понятой, — сказал Хальс. — Быстро.

Шаги поднялись по лестнице. Одни тяжёлые, с одышкой. Другие лёгкие и ровные, как маятник. Остановились за дверью.

— Эдмер? — Ирвин постучал. — Ты спишь? Это я, я тут перчатки…

Ручка повернулась. Засов не пустил. Ручка повернулась сильнее.

— Мастер Хальс. — Ведер говорил негромко и отчётливо, как под протокол. — Понятой Реестра Ланц Ведер. Ваш брат беспокоится о вашем здоровье. По Уложению, при угрозе жизни окольцованного шестого круга понятой обязан находиться рядом. Откройте, пожалуйста.

Хальс улыбнулся одной стороной рта.

— Он эту статью писал не для того, чтобы её читали, — сказал он вполголоса. И громче, насколько хватило: — Ланц! Я сплю.

За дверью помолчали.

— Мастер, я слышу, что вы не спите.

— Значит, разговариваю во сне. Со стариками бывает. Приходите утром.

Тяжёлые шаги отошли от двери и вернулись. Ирвин дышал так, что было слышно через дуб.

— Ведер, тут замок. Замок же закрыт, Ведер!

— Вижу, — сказал Ведер. — Мастер Хальс, ваш приказ я не сниму, я третьего круга, и вы это знаете. Откройте сами, иначе мне придётся звать людей.

— Зовите, — сказал Хальс. — Людей в Брине много.

Шаги ушли вниз. Ведер негромко говорил, Ирвин отвечал визгливо, Берта плакала, хлопнула дверь в людскую.

Ровен смотрел на дверь.

— Нюхач, — сказал он. — Это Ведер. Пока я ходил за перчатками.

— На двенадцатую полку, — сказал Хальс. — Да.

Один принёс бутылку, другой выключил нюхача, и пришли они через час после отвара, когда хозяин должен был уже лежать без языка. Понятой — чтобы руку первым взял хранитель Реестра и печать уехала в Хранилище; хранителя Ведер наверняка привёз с собой, и тот ждёт внизу, в карете. Наследник по записи, тот, кого Реестр записал следующим хозяином печати, — чтобы взять руку себе. Вместо этого за дверью у них сидел третий: кабальный, который был с хозяином взаперти, пока хозяин умирал.

— Ровен.

— Я здесь.

— Дай руку.

Ровен не шевельнулся.

Хозяйскую голую руку он не трогал никогда. Подавал книгу, чашку, перо, поправлял плед, застёгивал перчатку, когда хозяин ещё выходил, — всегда через ткань, через кожу, через воздух. Окольцованные не дают руки, кабальные не берут, и это правило он выучил раньше букв. Мать держала его за руку до ворот на Рыбном канале, а за воротами руку держать стало некому.

И он знал, что такое слово руки. Его знали даже пустые — «кейр». Им начинался каждый одр в Брине, его кричали на похоронных песнях, им клялись на рынке. Если окольцованный, держа чью-то руку, сказал «кейр» и имя того, кого держит, печать после его смерти уходит в эту руку, и перехватить её не может уже никто, ни понятой, ни наследник.

Беглого кабального с краденой печатью шестого круга вешают без суда, если не успеют раньше вложить его ладонь в чужую и приставить нож. Эта дорога кончалась так, и никак иначе. А у той, по которой он шёл до сегодняшнего вечера, конец был через три года и сорок один день, на Солёной, с пирожком.

— Мастер, — сказал он. — Я кабальный. Мне три года осталось. Три года и сорок один день.

— Знаю, — сказал Хальс. — Я подписывал запись. Тебя повесят, если поймают. А не дашь руку — повесят завтра утром за то, что сидел со мной взаперти, когда я умирал. Ирвин скажет, что ты подлил мне в чай. Ведер подпишет. Видишь, я ещё считаю. Не так плохо, как думал.

Внизу застучали сапоги. Много. Звякнуло железо.

— Дай руку, Ровен. Это не приказ. Приказывать тебе я больше не буду.

Ровен вытер ладонь о штаны. Отвар на ней подсох и лип. Три года и сорок один день. Он отдал их, не досчитав, и протянул руку, не зная, как её держать: сверху, снизу, по-лекарски или по-купечески, с размаху. Хальс решил за него. Пальцы у хозяина были холодные и сухие, но держали ещё крепко, как клещи.

— Кейр, — сказал Хальс.

И потом, отдельно, окликом через двор:

— Ровен.

По лестнице подняли что-то тяжёлое. В дверь ударили обухом, и дуб глухо крякнул.

— У петель! — сказал за дверью Ведер. — Рубите у петель, замок не трогать!

Второй удар. Третий. Щепа брызнула внутрь у верхней петли.

Хальс не отпускал руку. Он сидел, закрыв глаза, и дышал. Вдох длинный, выдох короткий, потом пауза. Каждый раз Ровен ждал, придёт ли следующий вдох.

— Мастер. Почему я?

— Потому что ты дочитаешь, — сказал Хальс, не открывая глаз. Очень тихо. — Со строки сорок. Не забудь.

Вдох.

Выдох.

Удар топора.

Пауза.

Раз. Два. Пять. Десять. На двенадцати Ровен понял, что вдоха не будет, а на четырнадцати ему обожгло ладонь.

Сначала ладонь, будто он сунул руку в котёл, где варят бельё, и не вынул. За ладонью запястье: медный браслет стал горячим, как подкова из горна. Оттуда жар пошёл вверх, по внутренней стороне руки, к локтю, медленно, огнём по фитилю. Ровен хотел выдернуть руку и не смог. Пальцы мёртвого держали так же крепко, как пальцы живого.

Во рту стало горько и солоно, как от монеты на языке. Звенело в ушах. Через звон он слышал удары топора, крики, плач Берты внизу, а сквозь всё это — другое. Тихий, вежливый, многоголосый щелчок, во всём доме разом, со всех сторон. Так поворачивают головы.

Светец над креслом разгорелся в полную силу. Под полом загудели грелки. Маска ледника повернулась к Ровену.

Он посмотрел на руку. Под кожей, от запястья к локтю, шла сетка. Тонкая, серебряная, как паутина на рассвете, когда на ней роса. Сетка тлела.

Хальс разжал пальцы.

Ладонь у хозяина стала просто ладонью: серая, сухая, с жёлтыми ногтями. Кольца погасли, и шесть ровных обручей стали шестью светлыми полосами на коже, следами от снятых браслетов. Мёртвых окольцованных при пустых не раздевали, и ни один пустой в Брине этих полос не видел.

Он больше не был пустым.

У двери крякнула верхняя петля.

Ровен встал. Ноги держали, рука горела, но двигалась. Словник он сунул за пазуху, градусник в карман. Ледник закрыт, чашка в нём; дверь держится на нижней петле и на замке, который откроется только по слову хозяина, а хозяин уже ничего не скажет. Ледник откроет только печать по имени Тессаль, и печать по имени Тессаль была теперь у него в руке. Он отвернулся от ледника к окну.

Окно спальни выходило на Рыбный канал. Второй этаж, под окном каменная бровка шириной в ладонь и вода, чёрная, в конце осени холодная, как в погребе. Шпингалет не открывали с весны, и Ровен сорвал его вместе с гвоздём.

Пахло тиной и дымом. Над крышами, на Скалльском холме, горел огонь столпа, ровный, жёлтый, далёкий. Ровен видел его из этого окна каждую ночь, сколько себя помнил в доме, и

ни разу о нём не думал. Столп, хозяйская башня выше любого собора, держал погоду над всем краем и записывал каждую команду, отданную под ним: чья печать, где, когда.

Нижняя петля сдалась.

Он не обернулся. Встал на подоконник, как вставал, когда мыл стёкла, прижал к груди горящую руку и шагнул в темноту.

* * *

Вода была такая холодная, что из головы вышибло всё, кроме неё.

Ровен ушёл под воду с головой, ударился плечом о сваю, вынырнул, хватая ртом воздух, и снова ушёл, потому что в окне наверху вспыхнул свет. Под водой он доплыл до каменного устоя, где канал подныривал под соседний дом, и прижался к нему, выставив над водой нос и глаза.

Отсюда было видно окно и людей в нём, и слышно было всё.

— Эдмер! — визжал Ирвин. — Эдмер, ради Хозяев…

Короткая тишина. Потом Ирвин закричал по-другому — высоко, сорванно, на одной ноте:

— Пустая! Ведер, она пустая! Рука пустая, холодная, где… Где он?! Где этот…

— Не трогайте тело, — сказал Ведер.

— Он её украл, он…

— Я сказал: не трогайте тело, господин Хальс. Отойдите. Теперь это дело Реестра.

В окне появилась седая голова. Ведер стоял спокойно, руки за спиной, и смотрел вниз, на канал. Смотрел так долго, что Ровен перестал дышать и чувствовал только холод, поднимавшийся от ног к груди, и горячую, как головня, руку у сваи.

Ведер и теперь не повысил голоса. Он сказал кому-то внизу, на тёмной набережной, тем же тоном, каким просят подать плащ:

— Клаас. Он в канале.

С набережной ответили весело, почти радостно:

— Понял, ваше кольцо.

И щёлкнула, натягиваясь, тетива.

Глава 3. Решётка

Болт ударил в воду в двух шагах от головы, коротко и зло, и брызги долетели до лица.

Ровен нырнул. Под водой не было ничего: ни света, ни верха, ни низа, один холод, от которого сводило челюсти. Он грёб, пока хватало воздуха, и вынырнул под аркой соседнего дома, между двумя сваями в слизи.

— Э-эй, чтец! — крикнули с набережной. Голос был молодой, весёлый, с хрипотцой, будто человек много смеялся и мало спал. — Ты плаваешь, как топор! Я тебя по пузырям вижу!

Набережная Рыбного канала шла по правой стороне, выше воды на рост человека. Вдоль неё на столбах стояли светцы, по одному на двадцать шагов, белые, с золотыми колпаками. Ночью они горели вполсилы, но вода под ними блестела, и всё, что по ней плыло, было видно сверху.

Человек с арбалетом был невысокий, широкий, в куртке нараспашку, и борода у него под светцом отливала медью. Шёл он не торопясь и на ходу натягивал тетиву воротом. За ним шёл второй, с фонарём, длинный и сутулый.

— Слышь, чтец, — сказал рыжий. — Я тебе честно скажу, я добрый. Мне ж не ты нужен, мне рука твоя нужна. Тёплая. Вылезай, подержимся и разойдёмся.

Длинный засмеялся. Рыжий — нет. Он смотрел на воду и ждал ответа, потому что по голосу ищут быстрее, чем по пузырям. Ровен промолчал.

До городской стены было шагов четыреста. Ровен знал это точно, каждую неделю он носил хозяйское бельё к прачкам у Водных ворот. На ночь ворота закрывали так, что без приказа магистрата их не открыл бы и пятый круг. Зато в левой стене канала, у самых ворот, сидела решётка водостока. Белая, с золотым замком.

Замок. С замком справится и первый круг.

Он оттолкнулся от сваи и поплыл вдоль левой стены, в тени, где свет с набережной ложился на воду одной полосой.

— Вижу, — сказал рыжий почти ласково. Тетива щёлкнула.

Болт вошёл в воду там, где только что было плечо. Ровен нырнул, проплыл сколько смог и вынырнул прямо в полосу света. Ближний светец стоял на набережной почти над ним, шагах в десяти. Следующий — шагах в двадцати пяти.

Как это делается, он знал лучше любого в Брине, кроме покойного хозяина. Читал вслух много лет, по слогам и целиком, с ударениями и паузами. Палец на машину. Слово. И круг, которого должно хватить.

Он поднял из воды руку и вытянул палец к светцу. Рука горела, сетка под кожей тлела.

— Сэл, — сказал он хрипло. В рот попала вода. — Сэл тум.

Сначала не случилось ничего.

Потом в ладони стало тепло, совсем чуть-чуть, как от кружки с чаем. Ближний светец мигнул и погас.

«Освещение отключено, — сказал над водой женский голос. — *Просим соблюдать осторожность».*

Он сказал свету «спи», и свет уснул. Ровен засмеялся в воду, коротко, будто кашлянул.

Над ним на набережной стало темно. Остался фонарь длинного, жёлтое пятно, в котором было видно одного длинного.

— Ого, — сказал рыжий. — Чтец-то у нас зажигает. То есть гасит. — Он помолчал. — Слышь, Кобыла. А ведь это плохо. Это, выходит, уже у него.

— Клаас, ну его, а? — Длинный говорил в нос, тягуче. — Ночь же. Завтра стража сама…

— Завтра стража за него двести марок получит, а мы с тобой — по шее. Свети на воду, дурак.

Ровен плыл. К жару в руке прибавился второй: налились щёки, лоб и уши. В книгах это звали первым жаром и писали о нём спокойно, между строкой о соли и строкой о сне.

Плыл он отрезками. Ждал, когда длинный отвернёт фонарь, и проходил кусок под самой стеной, в тени. Пальцы гребли не вместе, каждый сам по себе. Где-то на середине канала он погасил ещё один, ближний. Следующий стоял шагах в сорока, и жест ушёл в него впустую, ладонь обдало прохладой. Отказ. Первый круг достаёт на тридцать шагов, дальше команда не доходит, Ольден, том первый, страница девятая. Выходит, проснулся один первый. Или не один, а с сорока шагов не разберёшь.

— Он считает, — сказал рыжий из темноты, ровно напротив. Он шёл с Ровеном шаг в шаг. — Слышь, чтец. Я тоже считать умею. За мёртвого тебя мне дадут двести марок. А если ты помрёшь, пока я тебя за ручку держу, мне платить уже никто не будет. Я сам буду платить. Кому захочу.

Ровен грёб дальше.

У Водных ворот было светло, на башнях горели высокие огни, до них он не дотянулся бы и с четвёртым кругом. В полосе этого света, на каменной бровке у решётки, стоял пёс.

Псы ходили по каналам ночами, по одному на участок. Ростом с крупную овчарку, только длиннее и ниже, белые, на шести тонких ногах, с маской вместо морды. Маска у них была ласковая, почти улыбающаяся, и людей они не трогали никогда.

Сейчас пёс смотрел прямо на Ровена.

Маска повернулась плавно, с тихим фарфоровым щелчком. В прорезях, где у живого были бы глаза, загорелся золотой огонёк.

«Добрый вечер, — сказал пёс. — *После десятого колокола находиться у Водных ворот запрещено. Просим вас вернуться. Благодарим за понимание».*

Ровен перестал грести и чуть не ушёл под воду.

Тридцать один год машины смотрели сквозь него, а эта посмотрела в лицо и пожелала доброго вечера. Рыжий, болты, хозяин в кресле с пустой ладонью — всё это на пару ударов сердца куда-то делось.

— Ладно, — сказал он псу. Зубы стучали. — Добрый.

До решётки оставалось десять шагов. Пёс стоял на бровке и не уходил.

Правило Ровен знал, как всякий, кто дочитал Ольдена дальше первого тома. Печать переходит целиком, но новое тело берёт её не всю: один круг, редко два, остальное спит до срока, «как зерно в амбаре». Шесть кругов хозяина лежали теперь в нём, а сколько проснулось, ни в одной книге не написано, это узнают на деле. Псы — второй круг. Отойдёт — значит, два, и до решётки можно плыть спокойно. Не отойдёт — придётся мимо. Лучше узнать это сейчас, на псе, который вежливо просит уйти, чем потом, на машине, которая просить не станет.

Он указал на пса.

— Тум.

Ладонь обожгло холодом. Пёс не шелохнулся. *«Просим вас вернуться».*

Ровен посмотрел на руку. Сетка шла от запястья до локтя, а у самого запястья, под ней, проступало кольцо. Тонкое, ровное, одно. Шесть кругов лежали в нём, как зерно в амбаре, а молоть пока можно было один.

— Хорошо, — сказал он. — А так?

Он указал на решётку, на золотой замок в двух пальцах под водой.

— Арн. — Открыть.

Тепло. Глухой щелчок. Решётка дрогнула и отошла от камня на ладонь, и из черноты за ней пахнуло сырым камнем и гнилью, сладковато, как из погреба, где перезимовала репа.

«Доступ открыт. Хорошего пути».

— Вон он! — крикнул длинный, и фонарь качнулся к воротам.

Пёс шагнул к краю бровки. *«Просим вас вернуться».* Он не прыгал и не скалился, нечем было. Он просто шёл к Ровену на шести ногах, не торопясь, и что он сделает, когда дойдёт, в книгах написано не было.

Ровен рванул решётку на себя. Она была тяжёлая и гладкая, пальцы соскальзывали. Он протиснулся в щель боком, ободрав грудь о край, и оказался в темноте, по пояс в воде.

Пёс стоял у решётки снаружи. Маска смотрела сквозь прутья.

Ровен указал на замок изнутри.

— Тум.

Решётка закрылась с тихим стуком. *«Доступ закрыт. Нарушение устранено. Хорошей ночи».*

Пёс постоял ещё. Потом золотой огонёк погас, маска отвернулась к воде, и пёс пошёл по бровке прочь, к Рыбному мосту.

Болт прошёл между прутьями, когда Ровен уже отворачивался. Ударил в левое плечо вскользь, боком. Рубаху рвануло, по руке потекло тёплое.

— Ах ты ж, — сказал рыжий за решёткой. Голос у него был огорчённый, как у человека, опоздавшего на паром. — Ну ничего. Ничего, чтец. Сток у нас выходит к реке, а река одна. Я подожду. Я терпеливый.

* * *

Через двадцать шагов вода опустилась до колен, ещё через двадцать пол пошёл вверх, и под ногами остался один жёлоб посередине, по которому медленно текло тёплое и густое. Что именно, Ровен старался не думать.

Сток под Брином строили хозяева. Стена гладкая, как изнутри чашки, выше жёлоба сухая. Свод круглый, чуть выше головы. Света не было совсем, звука тоже, кроме воды под ногами и собственного дыхания.

Он шёл, держась рукой за стену, и считал шаги. Больше вслепую делать было нечего.

На сотом стена слева разошлась: развилка. Из левого хода тянуло тёплым воздухом и низким ровным гулом. Из правого — холодом, с улицы. Ровен свернул направо.

Под рукой что-то шевельнулось и с писком побежало по пальцам. Он не закричал только потому, что стиснул зубы раньше.

«Внимание, — сказал над головой женский голос, так близко, что Ровен присел. Говорил свод, где-то в нём сидела ещё одна маска. — *Плановая очистка этого участка — через два часа. Просим освободить трубы. Благодарим за сотрудничество».*

Эхо унесло голос вглубь. Что такое очистка в стоке, Ровен не знал. Зато он видел сегодня, как машины Брина объезжают капусту на Солёной. Он пошёл быстрее.

Плечо заболело, когда он перестал о нём думать. Кровь не останавливалась, рукав прилип к руке. В голове само собой всплыло: «Нечистоты в ране хуже железа». Лекарский справочник, том второй, читал Хальсу, когда тот порезал палец.

На четырёх сотнях с лишним он сбился со счёта. Начал заново и сбился снова.

Выход он почувствовал раньше, чем увидел: в лицо подуло холодным и мокрым. Потом впереди посерело, и в сером проступила решётка, такая же белая, с золотым замком. Перед ней на камне лежал плоский обкатанный голыш. Им, видно, подпирали решётку, чтобы не закрывалась, и кто-то этой дорогой ходил. Сегодня голыш лежал рядом, а решётка была заперта.

За прутьями шумела вода, большая, широкая. Сайма.

Ровен поднял руку к замку и не сказал ничего.

Сколько у него осталось, он не знал. Новичок жжёт соль втрое, так было в книгах. Он отдал сегодня шесть команд, четыре прошли, эта будет седьмой. У окольцованных есть гра-

дусник для жара, а весов для печати нет, и сколько соли ушло, а сколько ещё лежит в нём, он мог только гадать.

Позади, далеко в темноте, загудело. Сначала тихо, потом громче. Гул шёл по стоку, и в нём был звук, какого Ровен раньше не слышал, сухое шуршание, будто по камню разом шли тысячи маленьких ног.

«Начинается плановая очистка, — сказал свод. — *Просим освободить трубы».*

Два часа, сказал свод. Даже со сбитым счётом Ровен не прошёл и шестисот шагов, двух часов тут не было. Свод соврал или сбился, как он сам.

— Арн, — сказал Ровен замку.

Жар ударил сразу, толчком, от ладони в голову. Перед глазами поплыли зелёные круги. Щелчок был такой слабый, что Ровен его чуть не пропустил. Он толкнул решётку раненым плечом и от боли чуть не сел. Решётка подалась.

«Доступ открыт. Хорошего пути».

Он вывалился на камни под стеной, на мокрый, хрустящий от инея ил, и откатился в сторону. Через несколько ударов сердца из решётки, у самых его ног, хлынуло. Сначала вода, потом серое, мелкое, густое, что текло с водой вперемешку и шуршало. Мошка. Мелкие хозяйские машины, которые чистят и чинят всё хозяйское, тысячи белых точек размером с горошину. Они высыпались в реку, забурлили у берега, потом потянулись назад, по камню, в трубу. Через минуту на камнях не осталось ничего, даже ила. Камень был чистый и белый.

Ровен смотрел на это с трёх шагов, и колени у него тряслись. Одна мошка сидела на рукаве. Посидела, повернулась и упала в реку.

Решётку он закрыл ногой, по-простому.

* * *

Он шёл вдоль Саймы, пока не перестал видеть городскую стену, а потом ещё столько же, вверх по течению, прочь от Портовой арки, где главный сток Брина выходил к реке и где его, конечно, ждали. Под ногами были грязь, сухой камыш и иней.

У старой лодочной будки, без двери и без крыши, он сел на камень. Сколько просидел, не знал. Долго: мокрая рубаха на нём успела задубеть.

Плечо он замотал полосой от подола. Рана была неглубокая, длинная. Он промыл её речной водой, пока руки ещё слушались. Больше сделать было нечего.

Потом снял браслет.

Медный, в палец шириной, на заклёпке. Он сидел на запястье так плотно, что под ним не росли волосы. Ровен нашёл камень с острым краем, подсунул под край браслета и бил другим камнем по заклёпке, пока она не сломалась. Бил долго. Два раза попал по руке. Браслет разошёлся и упал в иней, а под ним открылась полоса кожи, белая, как рыбье брюхо, с красным следом от края.

На эту полосу он смотрел дольше, чем на сетку выше.

Он поднял браслет — 1214, дом Хальс — и бросил в Сайму. Браслет ушёл без звука.

Над рекой понемногу серело. Ровен достал градусник. Футляр из рога выдержал воду, стекло было целое. Он сунул градусник под мышку, под мокрую рубаху, и считал до трёхсот, как велел хозяин, когда мерил себе жар после кашля. Потом поднёс к глазам. Серебряная нить стояла на тридцать восьмой черте и на шести делениях после неё.

Тридцать восемь и шесть. По книгам — рабочий жар. Книги, правда, не знали ни канала, ни стока, ни болта. Половину делений Ровен отписал плечу и решил, что к вечеру будет хуже.

Он пересчитал. Три слова за ночь. «Сэл тум» — светцам, трижды, и в третий раз до светца не достал. «Тум» — псу: отказ. «Арн» — двум замкам, у Водных ворот и у реки. «Тум»

— решётке изнутри. Три слова, семь команд, две не прошли. Записать было нечем и некуда, и он повторил всё трижды, чтобы не забыть.

Не сходилась соль. Семь команд, пять прошли. А новый носитель получает печать пустой, как новый кошелёк. Соль ложится в запас во сне, после того как её съешь, и пока новый носитель не поел и не выспался, он не отдаст ни одной команды. Первый закон, дети окольцованных учат его наизусть. Ровен читал его хозяину в прошлом году, и хозяин сказал: «Скучно. Дальше».

Соли у Ровена не было никогда, ни грамма. Соль была у хозяина, по особой записи, по сто шестьдесят граммов в месяц. В последний месяц — дважды.

Дальше в той же книге, мелким шрифтом, для лекарей, стояло ещё одно правило. Соль, которую проглотил пустой, из тела не выходит. Она оседает в костях и лежит там без пользы, пока в тело не придёт печать, а печать забирает её в первую же минуту, сколько бы её там ни лежало. Лежит обычно немного: щепоть, которую пустой проглотил по ошибке. Ровен тогда ещё подумал: какой пустой станет есть соль по десять грошей за грамм?

Кружка мутной воды. Горькой, с мелом. Каждый вечер, перед сном, три недели. «Не морщись. К сорока голос садится».

Голос был ни при чём. Горечь и мел — белая соль из хозяйского ларя. Хозяин его солил. Три недели, загодя, когда ни бутылки, ни Ирвина, ни сонного корня не было и в помине. Знал или ждал. Считал на год, а вышло на три недели.

Ровен поднял голову.

Над рекой, на Скалльском холме, за стеной и крышами, горел огонь столпа. Отсюда он был маленький и ровный, как огонёк в чужом окне.

Где-то под тем огнём, в камне, сейчас стояли пять новых строк, одна под другой. Шестьсот лет никто не узнавал из этих строк ничего неожиданного.

Ирвину эти строки не страшны. Ирвин скажет, что сам гнался за убийцей по набережной и гасил фонари, а Ведер подпишет. Страшны они были одному Ровену.

Теперь там было записано, что печать Эдмера Хальса гасила фонари на Рыбном канале через четверть часа после его смерти.

Глава 4. Притолока

Первые две мили после будки Ровен помнил по шагам, дальше — по межевым камням, их было одиннадцать. Двенадцатого он не нашёл.

Он шёл вверх по Сайме и повторял вслух, чтобы не перепутать: слева река, справа поле, сзади город. Слева река. Справа поле. Жар ходил волнами. Горели щёки, потом холодело в спине, и зубы принимались стучать сами, без спросу, как ставни на ветру. Плечо под тряпкой дёргало на каждом шаге. Иней на траве растаял, потом лёг снова, а сколько прошло между двумя инеями, Ровен сказать не мог.

У изгороди из жердей он сел перевязать тряпку. Встать не получилось.

Пахло козами и дымом. Кто-то жевал над самым ухом, мокро и равнодушно. Он открыл глаза, увидел жёлтый козий глаз с поперечным зрачком и закрыл снова.

А там его взяли под мышки.

Руки. Чужие, твёрдые, тянули вверх, и Ровен рванулся так, что опрокинулся на бок, сунул левую руку под себя, под живот, в грязь, и прижал всем телом.

— Не держите, — сказал он. — Не берите за руку. Не надо за руку.

— Да на что мне твоя рука, — сказал над ним женский голос, старый и сухой. — Своих две. Вставай, а то волоком потащу. Волоком — дольше.

* * *

Дальше были куски.

Потолок из жердей, а между жердями пучки травы, вниз головами, как повешенные. Запах полыни и дыма. Горшок у губ, горячий, и в горшке горькое, и Ровен пил, потому что пить хотелось сильнее, чем не хотелось горечи. Голос хозяина, ровный, без выражения: «Дальше». И Ровен читал дальше, в темноту, по памяти, том первый, страница девятая, первый круг достаёт на тридцать шагов, и кто-то сказал «тише», и он сказал «простите, мастер». Потом был стук, долгий, мерный, как будто рубили дуб у петель, и Ровен сжимал в кулаке чужие пальцы, холодные, сухие, а это была не рука, это был край одеяла. Потом пришёл женский голос, не старухин, а тот, тёплый, из-под маски, которым уговаривают ребёнка выпить лекарство: *«Просим сохранять спокойствие. Просим сохранять спокойствие. Просим…»* — и Ровен переводил, хотя переводить тут было нечего, и не мог остановиться, и считал удары сердца в больном плече, и сбивался на четырёхстах с чем-то, и начинал заново.

* * *

Проснулся он от голода. Такого, будто в животе развели печь и топили её им самим. Ровен лежал на лавке у стены, под овчиной, и смотрел на очаг. На очаге стоял горшок, от горшка пахло пшеном и козьим молоком.

У очага сидела старуха. Высокая, костлявая, в сером платке до бровей, руки длинные, тёмные, узловатые. Она толкла что-то в ступке. На шнурке у неё на шее висели два шарика жёлтого воска, каждый с ноготь.

— Проснулся, — сказала она, не оборачиваясь. — Есть хочешь. Бес твой есть хочет.

Ровен посмотрел на левую руку. Рукав рубахи отрезан по плечо, плечо перевязано чистым полотном. Ниже, от запястья к локтю, шла сетка, серая сейчас, тусклая. У запястья — кольцо. Над кольцом — белая полоса от браслета.

Прятать было поздно. Он и не стал.

— Сколько я спал?

— Два дня, — сказала старуха. — Третий начался. Ешь.

Она поставила горшок на лавку рядом с ним, а ложку не дала. Ровен подождал ложку, не дождался, взял горшок обеими руками и стал есть через край, а когда каша пошла туго, полез пальцами. Он знал, как это выглядит, и не мог остановиться. Двадцать два года он ел на кухне, после хозяина, аккуратно, не торопясь, чтобы кухарка не сказала, что кабальных кормят как свиней. Каша кончилась. Он вытер горшок пальцем и облизал палец.

— Простите, — сказал он.

— Не ты ешь, — сказала старуха. — Он ест. — Она кивнула на руку. — У моего брата по вере в Ольхах сын был бесноватый, вот так же ел. Пока не помер.

— От чего помер?

— От беса.

Ровен поставил горшок на пол.

— Вы из Глухих, — сказал он.

— Мать Ода. Из Глухих.

О Глухих он знал то же, что весь Брин. Деревенская секта, упрямая. Машины у них бесовщина, пение машин — бесов голос, кто слушает, тот пропал, и потому, когда мимо идёт машина, Глухие затыкают уши воском. Вот этим, на шнурке. Окольцованные — бесноватые, бес вошёл в них через руку. Реестр — бесов писарь. В Брине над этим смеялись в балаганах, а Реестр Глухих не трогал: от людей, которые сами затыкают уши, вреда нет. А ещё, шёпотом и не в балаганах, говорили, что Глухие прячут беглых. Кабальных, должников, солдат.

— Почему вы меня не отдали? — спросил он.

— Кому?

— Хоть кому.

Мать Ода вытряхнула из ступки зелёную кашицу на тряпицу и подошла. От тряпицы пахло мёдом и тысячелистником.

— Плечо давай, — сказала она. — На запястье у тебя полоса. Кабальный. Беглый. Кабальных я прячу сорок лет. — Она размотала полотно, и Ровен зашипел сквозь зубы. — А что ты бесноватый, я увидела, когда рукав резала. Уже в доме. Не выкидывать же.

— Можно было выкинуть.

— Можно, — согласилась она и прижала тряпицу к ране так, что у Ровена потемнело в глазах. — Не выкинула. Лежи.

* * *

Градусник лежал на полке у очага, рядом с дорожным словником. Мать Ода сама их туда положила, Ровен спросил. Словник высох в тепле. Кожа покоробилась, края страниц пошли волной, но хозяйские чернила не расплылись. Листок с сорока девятью словами, сложенный под обложкой, размок по сгибам, а цифры читались. Он открыл первую страницу и отсчитал сороковую строку. «Дочитаешь, со строки сорок». Строки поплыли, и он закрыл словник.

Градусник он поставил под мышку и считал до трёхсот. Мать Ода смотрела на стекло так, будто он сунул за пазуху змею.

Тридцать восемь и четыре.

По книгам, после того как печать перейдёт, новый носитель неделю лежит в жару, бредит, бьётся в судорогах, и взрослый обычно выживает. Ольден писал «неделю» без оговорок. Лекарский справочник — «от шести до девяти дней». Шёл третий день. Вчера, по словам матери Оды, он ещё бредил и звал какого-то мастера. Сегодня сидел, ел и считал.

— Вы видели таких, — сказал он. — Бесноватых. Сразу после.

— Двоих.

— Сколько они лежали?

— Сын братов — девять дней. Потом встал и через год помер. Другой — неделю. Тот живой, в Брине, при мастерской. — Она отвернулась к очагу. — Ты два дня лежал.

Записать бы, да некуда. «Быстрее, чем положено» в книгах не бывало. Бывало «по-разному».

Утром на том берегу Саймы прошла машина. Сначала далеко, ниже по течению, послышался голос, ровный и ласковый. Мать Ода сняла со шнурка восковые шарики, размяла в пальцах и заткнула уши. Ступку она отставила и смотрела в огонь, пока голос не ушёл.

Ровен подошёл к окну. По бечевнику, тропе для тягла вдоль того берега, шёл тягач, белый, длинный, с маской на передке, и тянул на канате баржу с бочками. На бочках даже отсюда видно было клеймо Реестра: круг и семь насечек.

«Уважаемые жители прибрежной полосы, — пел тягач. — *Просим не оставлять лодки на бечевнике. Благодарим за заботу о судоходстве».*

Мать Ода сидела, пока звук не ушёл вверх по реке, потом вынула воск и повесила обратно на шнурок.

— Что он поёт? — спросила она.

Ровен не ждал, что Глухая спросит.

— Просит не оставлять лодки на тропе, по которой ходит. Благодарит за заботу.

Мать Ода долго молчала.

— Шестьсот лет, — сказала она наконец, — люди думают, что бес им грозит. А он, выходит, благодарит.

— Он благодарит и давит, — сказал Ровен. — Одно другому у них не мешает.

* * *

К полудню прибежал соседский мальчишка, рыжий от веснушек, в отцовской шапке. В дом он не пошёл, встал на пороге и, косясь на Ровена, выпалил:

— Мать Ода! Там у Брода конные ездят! Пятеро, и собака с ними. По всем хуторам ходят. Старшой рыжий такой, весёлый, с самострелом. Про высокого спрашивает, стриженого. Двести марок сулит!

Мать Ода дала ему сухарь, и мальчишка убежал.

Ровен сидел на лавке. Двести марок. Работник получает две-три марки в месяц. Двести марок — это шесть лет работы. Или один вопрос: где высокий, стриженый?

— До Брода полторы мили, — сказала мать Ода. — Через час будут.

Ровен встал. Ноги держали, но плохо, в голове плыло. Он взялся за край стола и понял, что держится за него, а не опирается.

— Я уйду, — сказал он.

— Куда? В поле? У него собака.

— Тогда…

— Тогда сядь. — Мать Ода смотрела на него, будто прикидывала, продать или зарезать. — Кабальных я прячу. Бесноватых — нет. Бесноватый в доме — беда дому. Ты пришёл, бес пришёл. Рыжему ты нужен, рыжий тебя заберёт, и беда уйдёт. Вот что я думаю, кабальный. Скажи, почему я думаю неправильно.

Ровен вёл хозяйские торги двенадцать лет, с переписчиками, с купцами, с поставщиком свечей, который всякий раз пробовал продать сальные за восковые. Сейчас в голове было пусто и горячо, и ни одного довода в ней не лежало.

— Он меня не заберёт, — сказал Ровен. — Убьёт. И за руку… будет держать, пока я…

— Ну и пусть держит.

— Так бес-то к нему уйдёт. В его руку. А его… — Ровен сбился, потёр лоб. — Его понятой позвал. Реестра понятой. По имени, при мне, под окном. «Клаас, он в канале». Как собаку.

— Бесу всё равно, в чьей руке.

— Бесу — да. А вам? Вы ж от Реестра людей прячете. Сорок лет, сами сказали. Ну вот я. Вот. — Он поднял руку с сеткой и тут же опустил: смотреть на неё матери Оде было тошно, это он видел. — Хозяин мой помер, чтобы это им не досталось. Отдадите меня — достанется.

Мать Ода молчала. Ровен считал про себя. До Брода час, без малого.

— Плохо торгуешься, — сказала она. — Хозяин твой, видать, сам торговался. Ладно.

Она взяла с полки нож, короткий, кривой, для коз. Ровен отступил к стене. Мать Ода посмотрела на него так, что ему стало стыдно, и вышла во двор.

Через минуту за стеной закричала коза. Коротко, обиженно.

Мать Ода вернулась, вытерла нож о фартук, сунула за пояс и взяла со стола горшок с тысячелистником и мёдом.

— Козу о гвоздь распорола, — сказала она. — Бок. Я ей лечу. Мазью пахнет весь двор. Кровью тоже. Пошли.

* * *

Яма была под козьим хлевом. В углу, где козы спали, мать Ода разгребла солому, подцепила пальцами доску, потом вторую. Под досками была темнота и запах сырой земли, репы и прошлогодних яблок.

— Сорок лет копана, — сказала она. — Туда и лезь. В дальний угол, за кадку.

Ровен спустился по жердине. Яма была в рост, узкая. В дальнем углу стояла кадка с капустой. Он сел за неё на корточки, спиной в холодную земляную стену. Доски легли на место, сверху зашуршала солома, и стало совсем темно. Козы потоптались, одна легла прямо над ним. Через щели сыпалась труха.

Он сидел и дышал ртом.

Конных он услышал раньше голосов: земля под ним глухо подрагивала. Залаяла собака, настоящая, живая, с хрипом. И голос, весёлый, знакомый, с хрипотцой:

— Здорово, мать! Хорошо живёшь. Козы жирные. Не бойся, я не Реестр. Я хуже — я по найму.

— Я не боюсь, — сказала мать Ода.

— А, Глухая. — Клаас как будто обрадовался. — Тогда я громче. ИЩЕМ МЫ, МАТЬ…

— Я слышу. Когда хочу.

— Ну и хорошо. Ищем мы одного, мать. Высокий, тощий, стриженый, как кабальных стригут, на левом запястье полоса белая. Кабальный из Брина. Хозяина своего порешил. Окольцованного, между прочим. Шестого круга. Бумагу видала?

— Бумаги Реестра у нас на растопку.

— Вот и правильно, — сказал Клаас. — Бумага там смешная. Почитать бы тебе. Беглый кабальный, убийца хозяина, двести марок за живого или мёртвого. А про руку — ни слова. Знаешь почему? Брат-то покойного, наследник, ходит по Брину с перевязанной рукой. Говорит, печать у него. Перешла, мол, как положено, только спит пока. В жару, говорит, лежала.

Ровен под досками перестал дышать.

— А сам он, — продолжал Клаас, — и не горячий вовсе. Румяный. Я ему руку жал. Шучу, не жал, кто ж ему даст. Но ты понимаешь, мать, какая штука. У наследника сороковины печати. Сорок дней.

Сороковины Ровен знал по Уложению, статья сорок девятая. За сорок дней у нового носителя должно проснуться первое кольцо, а не проснётся — Реестр пишет печать выцветшей,

погасшей. Под печать Хальса Ирвин набрал долгов на тридцать лет вперёд, и давали ему не под красивые глаза. На сороковой день кредиторы придут за домом.

Уже тридцать семь, подумал Ровен. Сегодня третий.

— Обыщите, — сказал наверху Клаас. — Аккуратно, мать сердитая. Кобыла, в хлев.

Затопали. Хлопнула дверь, заблеяли козы, разом, все. Собака рванулась к хлеву, Ровен слышал её рядом, у самой стены: хрип, сопение, когти по доскам. Коза над ним вскочила. Собака ткнулась носом в щель между досками прямо над его головой, шумно втянула воздух — и чихнула. И ещё раз. Мазь. Мёд, тысячелистник, кровь, козы, моча и навоз.

— Тут коза драная, — сказал Кобыла. — Бок распорот. Кровищи.

— О гвоздь распорола, — сказала мать Ода от двери. — Лечу.

Шаги. Другие, лёгкие и неторопливые. Кто-то вошёл в хлев и сел на ясли. Доска над Ровеном прогнулась и скрипнула, ясли стояли прямо над ямой.

— Мазь у тебя хорошая, мать, — сказал Клаас. Он сидел в двух локтях над головой Ровена. — Тысячелистник? Мёд? Мне бы такую. Меня тут на днях палкой по плечу… Шучу. Меня не бьют.

Ровен зажал рот рукавом. В горле щекотало, мокро, всё выше. Он не дышал, и от этого резало в груди.

Кобыла вышел. Мать Ода стояла у двери, на дворе. В хлеву остался один Клаас.

— Пятеро нас, — сказал Клаас вполголоса, в солому. — Ну да. Пятеро. Двести марок на пятерых — по сорок, это ж хорошо. Кобыла со мной с детства, Кобыла ладно. А Штырь? А Губан? Эх, мать… Над рукой родные братья режутся. А они мне не братья.

Снаружи Кобыла кричал Штырю, чтобы тот лез на сеновал. В хлеву было тихо. Ясли скрипнули. Клаас встал.

— Нету тут никого, — сказал он громко. — Козы одни. Поехали.

Кашель Ровен проглотил, когда стих стук копыт. Проглотил со слезами, как горячее. И долго ещё сидел за кадкой, пока доски не поднялись и в яму не упал серый свет.

* * *

Мать Ода стояла у двери дома и смотрела вверх.

Из притолоки, на высоте лба высокого человека, торчал арбалетный болт. Короткий, толстый, с железным наконечником, вбитый в дерево почти до оперения. Под ним на пороге лежала свежая щепа.

— Ушёл, — сказала мать Ода. — Вбил вот. Прикладом. А мне велел: если зайдёт высокий, стриженый, чтобы лбом не ударился. И чтобы ты знал: Рыжий ищет руку.

Ровен стоял в дверях хлева, в соломе и трухе, и смотрел на болт.

— Он знал, — сказал Ровен. — Он сидел прямо надо мной.

— Знал, — согласилась мать Ода.

— Собаку он брать не станет. И Штыря с Губаном тоже. Придёт ночью. Один.

— Знаю, — сказала мать Ода. — Он козе бок погладил. Рану, что я резала, пальцем тронул и погладил. Мой сосед так телёнка гладил, когда резать шёл.

Она ушла в дом, и Ровен слышал, как она собирает узел. Хлеб, сыр в тряпице, лук. Старую мужскую куртку из овчины, вытертую на локтях. Кусок полотна на перевязку. Горшок с мазью. Она завязала всё в платок и поставила на лавку.

— На восток иди, — сказала она. — К Ржави. Вдоль Козьего ручья, потом на старую белую дорогу. Ночь и полдня. На Ржави спроси Гаспара. Щука зовут. Хромой.

— Кто он?

— Солевоз. Соль вашу бесову возит, мимо Реестра. Врёт, как дышит. Но рыжему не продаст.

— Почему?

— Пока невыгодно. — Мать Ода сняла со шнурка восковые шарики и протянула ему. — На. Чтобы не слышать.

Ровен посмотрел на воск.

— Мне нельзя не слышать, — сказал он. — Слушать, что они говорят, — единственное, что я умею.

Мать Ода надела шарики обратно.

— Рука, она прирастает, — сказала она. — К кому-нибудь. Или к тебе, или к ним. Ты гляди, к кому прирастёт.

Ровен открыл рот и закрыл.

— Не знаю, — сказал он.

— Вот и гляди. Пока рыжий не поглядел за тебя.

Он ушёл, когда солнце коснулось леса. Под притолокой пришлось пригнуться, и болт прошёл над самой макушкой. На хутор Ровен не оглянулся. Оглянулся с холма, на Козьем ручье, когда стемнело совсем.

Внизу у реки, по дороге от Брода, шёл к хутору один огонёк. Фонарь. Один.

Глава 5. Ржавь

Снег начался там, где кончился свет столпа.

Всю ночь Ровен шёл вдоль Козьего ручья, потом по старой белой дороге. Хозяева клали дороги из того же гладкого камня, что и машины. Шестьсот лет дорога лежала без единой выбоины, только кое-где её пересекали трещины в палец шириной, и в трещинах стояла сухая трава. К рассвету он оглянулся. Огня на западе не было. Серое небо, серое поле, и всё.

Через час пошёл снег, сухой, мелкий, злой. В Брине сейчас стояла сырая осень с инеем по утрам: столп держал погоду над краем и снег в Скалле пускал к середине зимы, а здесь держать её было некому.

Там, откуда не видно огня на столпе, начинается Глушь. Так говорили в Брине, и теперь Ровен шёл по ней ногами. Здешний столп сгорел в Войну печатей, двести с лишним лет назад, когда знатные дома двенадцать лет резали друг друга за чужие руки, и с ним пропали погода и журнал. Машины тут работают по приказам, отданным ещё до той войны. Сюда бегут те, кому есть что прятать, а следом Реестр шлёт ловчих, своих окольцованных четвёртого и пятого круга.

Журнала нет. Ровен покатал эту мысль, как камешек во рту. Что бы он ни сказал тут машине, строчки под Скалльским холмом не прибавится. В книгах это стояло оговоркой в скобках. За четыре дня других хороших новостей у него не набралось.

* * *

Ржавь открылась с холма к полудню. Плоская рыжая чаша мили в три, и ничего живого в ней: ни травы, ни кустов, ни снега. Снег падал на рыжее, темнел и пропадал. Посередине торчал холм с чёрной дырой в боку, похожей на беззубый рот. Мёртвый узел.

Узел — подземная хозяйская машина величиной с амбар. Живой узел кормил током машины вокруг и делал в своих подвалах мошку из белой руды, а мошка чинила машины на десять миль кругом. Из той же руды, молотой, выходит соль для печатей. Когда руда кончилась, мошка стала чинить машины другими машинами, потом землёй, деревьями и камнем, а под конец съела сама себя. Остаток скрипел теперь у Ровена под сапогами.

Снизу, от холма, тянуло дымом, горьким. Кто-то жёг костёр из того, что в Ржави ещё горело.

Старая станция стояла на краю чаши, у дороги, единственное белое пятно на всю Ржавь. Длинный навес на тонких столбах, под ним платформа по колено высотой, на платформе белый столбик с прорезью и маской. Мошка станцию не тронула. Сюда до сих пор приходил вестник, а к чему ходит живая машина, того мёртвая мошка не ест.

К боку станции лепилась хижина из горелых досок, жести и битого фарфора. Над крышей шёл дым.

Ровен постучал.

— Не заперто! — крикнули изнутри. — Заперто, я хотел сказать. Заходи, раз пришёл. Дверь на себя тяни, она дура.

* * *

Внутри было тепло, как в бане. Грело из угла: хозяйская грелка, гладкая, с позолоченным ободком, лежала прямо на полу, а над ней на верёвке висели портянки.

У грелки на чурбаке сидел человек и чинил сапог. Лет пятидесяти, тощий, нос длинный, и нижняя челюсть длинная, выставленная вперёд, рыбья. Правую ногу он держал вытянутой, деревянной. У чурбака стоял костыль.

— Гаспар, — сказал Ровен. — Щука.

— Щука, — согласился человек. — Гаспар — это если в долг. А ты кто?

— Меня прислала мать Ода.

— Ода жива? — Гаспар отложил сапог. — Ведьма старая. Она мне в позапрошлом году ногу вправляла. Я орал так, что у неё козы выкидывали. Ну, раз Ода, садись. Чего надо?

— Соли.

— Соли? — Гаспар развёл руками. — Это которая в солонке? Нету. Кончилась, всю съел.

— Белой.

— Белую, мил человек, продают в Брине. В лавке Реестра, по записи. — Он смотрел не мигая. — Сходи, скажи им: «По особой записи». Запись-то особая у тебя есть?

Ровен промолчал. Гаспар кивнул сам себе.

— Нету. И денег нету, вижу. Куртка на тебе мужнина, с Одиного покойника. Хлеб в узле — её, Глухие так пекут, с золой. Сам ты зелёный, как молодой сыр, и голодный, как кабальный на поминках. И руку ты бинтуешь не там, где болит.

— А где у меня болит?

— Плечо. Левое. Ты его бережёшь, когда дверь толкаешь. А тряпка у тебя на предплечье. — Гаспар постучал пальцем себе по руке. — Под тряпкой-то чего? Ожог? Кошка поцарапала?

Тряпку Ровен намотал ещё у Оды, по книгам: беглые с печатью ходят с повязкой. Про то, что повязку видно с порога, книги молчали.

— Сколько стоит соль? — спросил он.

— Мне? Ничего не стоит. Я её из узла сам ношу. На карачках, по подвалам, где мошка дохлая по колено. — Гаспар ухмыльнулся. — Тебе — двадцать грошей грамм.

— В лавке десять.

— Так иди в лавку.

— Двенадцать, — сказал Ровен.

— Восемнадцать. И то по старой дружбе.

— Мы не знакомы.

— Вот и задружимся. Шестнадцать.

— У меня нет ни гроша. Вы это видели.

— Видел. Я хотел узнать, видел ли ты, что я видел.

Он засмеялся.

— Мне нужно двадцать граммов, — сказал Ровен. — Расплачусь работой.

— Какой?

— Какая у вас есть для окольцованного без записи.

Гаспар перестал улыбаться.

— Вот, — сказал он. — Вот это слово. Дикий, значит.

Дикой зовут печать, которой нет в Реестре. Её носителя ловят ловчие и казнят на площади при понятом, и первым до мёртвой ладони дотягивается хранитель, раньше любого из зевак. Ровен знал это слово с детства, как все. О себе он сказал его сейчас в первый раз.

Гаспар подобрал сапог, посмотрел на него и отложил снова.

* * *

У Гаспара нашлось дело. Даже два.

Первое стояло в углу под рогожей. Сундук, белый, хозяйский, длиной в локоть, с позолоченным замком. Гаспар выволок его из подвалов узла восемь лет назад и восемь лет открывал: топором, ломом, кислотой от красильщика из Ольхов. На крышке не было ни царапины.

— Откроешь — за соль сочтёмся наполовину, — сказал Гаспар. — Не откроешь — заплатишь всё. За то, что пытался. Я сегодня добрый.

— Сейчас не открою, — сказал Ровен. — Пустой.

— А когда?

— Утром. Если поем соли и посплю.

Гаспар разглядывал его долго.

— Ты всё по правилам делаешь, — сказал он. — Как по книжке. Ты, часом, не чтецом ли был?

Ровен не ответил, и Гаспару этого хватило. Он полез под лавку, повозился и вытащил мешочек из промасленной кожи, величиной с кулак младенца. Кинул.

— Двадцать граммов.

Ровен поймал. Подержал на ладони. Переложил в другую руку.

Двадцать два года он носил хозяину из лавки Реестра по сто шестьдесят граммов в месяц, в таком же мешочке, только с клеймом. Этот вес сидел у него в руке.

— Четырнадцать, — сказал он.

Гаспар хлопнул себя по колену.

— Ну, глаз! Рука то есть. — Он ничуть не смутился. — Четырнадцать, точно. Я проверял, с весами ты или без. Без весов, значит. Ладно, четырнадцать. По шестнадцать грошей. Половину за сундук сброшу, как уговорились. И ещё вот что.

Он вытащил из-за пазухи бумажный кулёчек, закрученный хвостиком, с ноготь.

— Горячая. Щепоть. Под язык — и запас полный, сразу, без сна. Только каждая команда на ней греет вдвое. На чёрный день. Марка.

— Марка за щепоть?

— Мил человек, чёрный день — он дорогой. Белый дешевле. Бери, пока я добрый.

Ровен взял. Про горячую соль у Ольдена была одна строка, короткая и брезгливая, так лекари пишут о водке для раненых.

Потом он ел. Отсыпал на ладонь треть мешочка, граммов пять, на глаз и на вес: больше первый круг в запасе не держит, лишнее тело не возьмёт. Соль была мелкая, как пудра, горькая, с мелом. Вода для голоса, кружка каждый вечер, три недели. Он проглотил и запил водой. Хозяин был прав, к этому привыкаешь. Следом ушли половина хлеба матери Оды и весь сыр, и Гаспар цокал языком.

— Ешь, ешь. Бес твой пусть ест. Сытый бес — тихий бес. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо, а то не отдашь.

— Так не говорится.

— Это у вас в Брине не говорится.

Про станцию Ровен не спросил. Спроси Гаспара, когда ходит вестник, и Гаспар узнает, что вестник тебе нужен. Утром, между делом. Он лёг на лавку у стены, под рогожу, и уснул раньше, чем решил, можно ли спать при Гаспаре.

* * *

Разбудил его голос.

Женский, мягкий, снаружи, с платформы. Ровен лежал с закрытыми глазами и переводил.

«Станция Ржавь. Вестник отбыл по маршруту. Следующее прибытие — через восемнадцать суток. Благодарим вас за пользование почтой».

Он сел так резко, что в глазах потемнело.

Гаспар сидел на чурбаке у грелки и пил из кружки.

— Вестник, — сказал Ровен. — Он был?

— Был. Почтарь-то? На рассвете. Он всегда на рассвете. Пришёл, постоял, ушёл.

— Почему вы меня не разбудили?

— А ты просил? — Гаспар отхлебнул. — Ты не говорил, что тебе почтарь нужен. Ты говорил, тебе соль нужна.

Ровен вышел на платформу.

Снег перестал. Рыжая чаша лежала тихо, по краю её шла белая дорога, и по дороге, уже в полумиле, уходил на север высокий белый силуэт. Две длинные ноги, узкое тело, на спине короб. Шёл он ровно, не торопясь, так ходят люди, у которых дорога длинная и дел в пути никаких.

Полмили. И вестник — машина второго круга. Проснись Ровен вовремя, выбеги, встань у него на самом пути — получил бы холод в ладонь, и только. Хозяин это знал, когда говорил: «Вестник у Ржави». Хозяин не послал бы его к машине не по кругу. Значит, считал, что к сроку круг будет. Ровен потрогал словник за пазухой: письмо, которое где-то в коробе, писано для того, у кого второе кольцо.

«Следующее прибытие — через восемнадцать суток».

Сегодня пятый день. Пять и восемнадцать — двадцать три. До сороковин Ирвина — тридцать пять.

Сзади стукнул костыль.

— Ты что, письма ждёшь? — спросил Гаспар. — От кого? Почтарь шестьсот лет ничего никому не носил. Короб у него закрытый, сколько я тут живу. Тут один из Ольхов пробовал его остановить. Палкой.

— И что?

— Хромает теперь, как я. Только на другую ногу.

* * *

Сундук открылся с первого раза.

— Арн, — сказал Ровен. В ладони потеплело, замок щёлкнул глухо и негромко. *«Доступ открыт»*.

Гаспар ждал этого щелчка восемь лет. Он подковылял, откинул крышку обеими руками и замер.

В сундуке лежали башмаки. Два, белых, мягких, целых, точно их сняли вчера. Кружка, тоже белая, с отбитой ручкой. И пластина в ладонь, гладкая, с хозяйской надписью.

Гаспар перевернул башмаки, потряс, заглянул внутрь. Обстучал дно.

— Восемь лет, — сказал он. — Восемь лет, гнилой ты ящик. Кислоту покупал. — Он ткнул в пластину. — Это чего?

Ровен взял её и прочёл.

— «Третья смена, — перевёл он. — Не забудь покормить кошку».

— Хозяева милосердные, — сказал Ровен.

Гаспар молчал долго. Потом засмеялся так, что пришлось сесть на край сундука. Отсмеялся, вытер глаза.

— Знаешь, а ведь кто-то не покормил.

Ровен положил пластину назад.

После сундука был светец на станции. «Сэл» — и под навесом встал белый день. Потом грелка. «Ирт», тепло, стояло в третьем томе, и вслух Ровен его ещё не говорил. Он сказал грелке «ирт дан», «тепло больше», и через минуту портянки над ней закурились паром.

Гаспар сдёрнул портянки.

— Хватит, а то спалишь. Мне её убавь лучше, я тут восемь лет как в бане.

Ровен не стал. Замок, свет, грелка обходятся мастеру в пятую часть грамма. Новичок платит втрое, шесть десятых. Три команды — почти два грамма из пяти.

Гаспар порылся под лавкой и бросил ему тонкую книжку в сером картоне. Счётная, на пятьдесят листов, пять первых исписаны. На первом стояло: «Сколько должен Гаспару Щуке Хенк из Заброда». Гаспар вырвал эти пять листов и сунул себе за пазуху.

— Десять грошей. Тебе ж записывать надо. Ты ж без записи уже чешешься.

Карандаш, огрызок в палец, Гаспар бросил следом, бесплатно. Ровен сел у грелки и написал на чистом листе:

«День 5. Слов проверено: 5 (сэл, тум, арн, ирт, дан). Команд за всё время: 10, прошли 8. Соль: съел 5 г, потратил ~1,8 г. В мешке 9 г. Горячая: 1 щепоть. Жар 37,6. Должен Гаспару: 2 марки 22 гроша».

Перечитал и дописал ниже:

«Вестник — день 23».

* * *

— Теперь второе дело, — сказал Гаспар. — Заброд.

Рассказывал он как анекдот. Смешного в нём не было.

Заброд стоял в двенадцати милях к северу, у брода через Кривушу: двадцать дворов, лес, луг, коровы. На лугу шестьсот лет пасся хозяйский пастух, машина второго круга. Днём пасёт, вечером сгоняет в загон, ночью гоняет волков.

— И служил он им, как собака, — сказал Гаспар, — пока за ним Венс смотрел. Старый Венс, дикий, второго круга, хутор у него за рекой. За полмешка зерна в год ставил деревне приписку.

— Каждую весну?

— Каждую. Положит ладонь на каждого заброжца и говорит пастуху: «Видь этого». Видь — это чтоб с коровой не путал. — Гаспар почесал челюсть. — А летом Венс помер. Один, на хуторе, никто не видал. Печать погасла. Приписка у него с весны до Урожайного дня, до праздника. На Урожайный день и кончилась.

— И с Урожайного дня?

— С Урожайного дня пастух гоняет их как коров. Вечером зазвонит — и всё, кто на лугу, тот в загон. Мужики выучились: к звону — по домам. А позавчера пятеро ребят пошли на луг за хворостом. Задержались.

— Они в загоне?

— Третий день. Хлеб им через забор кидают. Ночью мороз.

— Почему не сломают загон?

— Ломали, — сказал Гаспар. — Грета, вдова Лукаса, у ней там двое. Пошла с топором к замку. Ночью. А пастух ночью волков гоняет. Кто ломится в загон — тот волк. — Он помолчал. — Хенк, староста, вчера прислал малого ко мне. Я всех диких на сто миль знаю. Ищите, говорит, окольцованного, платим шесть марок.

— И кого вы знаете?

— Висельника знаю. Его раз вешали, верёвка оборвалась, так и прозвали. Четвёртого круга. Только дорогой он, пьёт, и язык деревянный, полслова не выговаривает. Отказался. Других рядом нет. — Гаспар глянул на него снизу вверх. — А теперь есть ты.

— Шесть марок, — сказал Ровен.

— Две мне. За то, что нашёл. Две двадцать две — за соль, за горячую и за книжку. Тебе марка семьдесят восемь. И харчи с них.

Марка семьдесят восемь — почти месяц работы пахаря. За одну ночь. Много, будь у Ровена хоть что-нибудь, кроме долга, мешочка с солью и чужой куртки.

— Почему вы не спросили, кто я? — сказал он.

— А зачем? — Гаспар пожал плечами. — Высокий, тощий, стриженый под кабального. Полоса на левом запястье, под тряпкой, я глянул, когда ты спал. Чтец. Реестр за тебя двести марок даёт, рыжий из Брина по хуторам ищет, слух уже до Ольхов дошёл. Сам беглый, а соль на руке узнаёт до грамма. Чего спрашивать?

Ровен сидел тихо. Плечо ныло. Мешочек с солью лежал у него на коленях.

— Двести марок, — сказал он. — Это много.

— Много, — согласился Гаспар.

— Чтобы их получить, вам надо прийти в контору Реестра в Брине и объяснить, откуда вы меня знаете. Где живёте. Чем торгуете. — Ровен говорил медленно, по слову. — А рыжему вы меня не продадите, потому что рыжий не заплатит. Рыжему выгоднее, чтобы про его дело никто не знал. Даже вы.

Гаспар смотрел на него, и длинная челюсть медленно ходила, точно он жевал.

— Ловко, — сказал он. — Ода тебе сказала, что я не продам?

— Сказала: пока невыгодно.

— Умная старуха. Иди в Заброд, чтец. Сейчас мне выгоднее, чтобы ты был живой.

* * *

К Заброду он вышел на закате. Солнце садилось за лес, по снегу лежали синие тени.

Двадцать дворов за частоколом, на высоком берегу. Ниже, у реки, луг, белый от снега, а посреди луга загон. Хозяйский: белая ограда в два человеческих роста, гладкая, без единого шва, ворота с золотым замком. У брода, на самом берегу, белый столб с колпаком. Светец. Не горел.

В загоне стояли коровы. Ровен насчитал девять. Между ними, в самой гуще, где теплее, сидели и стояли маленькие тёмные фигурки. Пять.

Деревня молчала. Ни собак, ни голосов, ставни закрыты. У калитки в частоколе стоял один мальчишка лет десяти, в лаптях и старой шапке до бровей, и глядел на Ровена, как глядят на волка, которого позвали пасти овец.

— Ты окольцованный? — спросил он. — От Щуки?

— От Щуки.

— Дядька Хенк в доме. Иди скорей, сейчас звонить будет. Я Пим. Я пастушок, только он теперь меня не видит, раньше видел, а теперь меня самого… — Пим замолчал и потянул Ровена за рукав. За правый. Левую, в повязке, он обошёл.

Пастух стоял у ворот загона.

Ровен увидел его не сразу: белое на белом. Две длинные тонкие ноги цапли, только в два человеческих роста. Узкое тело, лодка, поставленная стоймя. Две руки, длинные, и каждая кончалась широкой гладкой лопастью вроде весла. Наверху маска, спокойная, добрая, чуть наклонённая к загону. Пастух пересчитывал стадо.

У ног его лежало что-то под овчиной. Из-под овчины торчал край юбки и рука, синяя, раскрытая ладонью вверх. Рядом из мёрзлой земли торчал топор.

Ударил колокол, глухо и мягко, из груди пастуха.

«Просим скот пройти в загон, — сказал пастух. Голос был ласковый и усталый, голос няньки, которую шестьсот лет никто не перебивал. — *Ночь начинается. Благодарим за спокойствие».*

* * *

Хенк оказался тяжёлым бородатым мужиком лет пятидесяти, с ладонями-лопатами и красными от бессонницы глазами. В доме набилось человек пятнадцать. Бабы у печи, мужики у стола, в руках ни у кого ничего, только у одного старика вилы, прислонённые к стене. Все смотрели на Ровена. Никто не сел.

— Шесть марок, — сказал Хенк вместо «здравствуй». — Как договаривались. Открой загон.

— Сначала скажите, что вы знаете о пастухе. Всё. Что он делает утром, что вечером, что…

— Ты чего, расспрашивать его пришёл? — крикнули от стола. — Там дети третью ночь на снегу!

— Да пусть спросит.

— Чего спросит-то? Венс не спрашивал!

— У Мартина младшая кашляет, — сказала баба у печи, тихо. — С обеда кашляет. Нехорошо кашляет.

Ровен посмотрел в окно. Загон стоял на тёмном лугу белый, светлый, будто его подсветили изнутри. Мороз крепчал. Изо рта у людей шёл пар: печь не топили с утра, чтобы дым не тревожил пастуха. Так кто-то сказал. Правда ли это, не знал никто.

Ольден писал: «Не зная приказа, не трогай машину». Писал он это в тёплом кабинете.

— Пастух не трогает тех, кто в загоне? — спросил Ровен.

— Не трогает, — сказал Хенк. — Кто в загоне — тот его. Он их бережёт. Волков гоняет.

— А Грета?

— Грета ломала. — Хенк дёрнул щекой. — Ты не ломай. Ты отопри. Ты ж можешь? Замок — это ж первое ваше дело. Загоняет-то он сам: вечером ворота перед стадом сами расходятся, а за стадом запираются. А отпереть утром — это только окольцованный. Венс отпирал. Каждое утро отпирал, летом.

Каждое утро. Летом.

Замок — первый круг, тридцать шагов. От крайнего двора до ворот загона шагов пятьдесят; если подойти к частоколу и встать у нижних кольев — двадцать пять. Пастух на замок не завязан. Замок — отдельная машина, у него своё слово и своя цена. Открыть замок — ещё не сломать загон. Ворота откроются по слову, как у Венса. Грета шла с топором.

Доводов «за» у Ровена набралось десять. Довода, что он прав, ни одного. Баба у печи всё смотрела на него.

— Пусть родители встанут у частокола, — сказал он. — У калитки. Когда ворота откроются, дети побегут к вам. Не ходите им навстречу. Пусть бегут сами. Сами.

Хенк кивнул. Все задвигались, заговорили разом, и дом опустел за минуту.

* * *

У частокола было темно, луна ещё не встала. Загон светился сам по себе, ровно и бело. Пастух стоял у ворот, маска наклонена.

Ровен встал у нижних кольев. Двадцать пять шагов до замка. Двадцать один — до маски.

Он размотал повязку. Сетка на предплечье тлела ровно. Кольцо у запястья было одно.

Рядом стоял Пим. Его никто не прогнал.

— А он тебя увидит? — спросил Пим шёпотом.

— Увидит.

— Он раньше меня видел. При Венсе. Здоровался. «Доброе утро, пастушок». А теперь не видит. — Пим помолчал. — Ты ему скажи, чтобы меня опять видел.

Ровен вытянул палец к золотому замку.

— Арн.

Тепло в ладони. Щелчок, в тишине такой громкий, что у частокола вздрогнули все. Ворота дрогнули и пошли в стороны, плавно, без скрипа.

«Доступ открыт».

Маска пастуха поднялась.

Она повернулась к воротам, потом к частоколу, медленно повела слепым лицом по людям. На Ровене задержалась. В прорезях вспыхнуло золото.

«Доброе утро», — сказал пастух.

Вечерний колокол отзвонил четверть часа назад. Стояла полная темнота.

«Загон открыт, — сказал пастух. — *Время водопоя. Просим скот следовать к воде».*

На берегу у брода зажёгся светец на столбе. Белым, ярким, дневным светом.

Пастух шагнул в загон. Лопасти опустились и легли коровам на спины, мягко, ладонями. Коровы пошли. Между ними, в самой гуще, пошли пять маленьких тёмных фигурок. Пастух гнал их к воротам и дальше, мимо частокола, мимо людей с протянутыми руками, вниз по лугу, к белому огню у брода.

— Это ж к реке, — сказал Пим. Голос у него был совсем спокойный, он ещё не понял, что видит. — Дядька Хенк. Он их к реке.

Кто-то закричал. Кто-то побежал наперерез, и лопасть пастуха, не оборачиваясь, отвела его в снег, как ветку.

«Просим скот не отставать».

Кривуша у брода в эту пору была корове по колено. Ребёнку — по грудь.

Ровен стоял у частокола с вытянутой рукой. Тепло ещё не ушло из ладони.

Глава 6. Водопой

До брода было шагов триста. Коровы шли медленно. Передняя встала, задняя ткнула её мокрой мордой в зад, и обе пошли дальше. Пастух шёл позади стада на своих цаплиных ногах, и лопасти его лежали на крайних спинах.

Ровен перелез через нижние колья и побежал.

Снег на лугу был по щиколотку, под снегом кочки. На десятом шаге он упал, на двадцатом снова. Плечо дёрнуло так, что он сел и посидел, считая до трёх. Встал. До пастуха оставалось шагов пятнадцать. Он вытянул палец.

— Тум.

Холод. Ладонь обожгло тем же холодом, что в канале, у пса. Пастух шага не сбавил.

Второй круг. Ровен знал это ещё у частокола и всё равно проверил.

«Просим скот не отставать», — сказал пастух.

Сзади закричали. Ровен обернулся. От частокола по лугу бежали мужики, пятеро, шестеро, с кольями, с вилами, впереди высокий, без шапки, с топором. Топор он держал обеими руками, за самый конец топорища.

— Мартин! — орал сзади Хенк. — Мартин, стой! Про Грету забыл?!

Мартин не остановился. Обогнал Ровена, не глядя, догнал пастуха и с разбегу ударил топором по ноге, туда, где у цапли колено.

Звук был как от удара по колоколу, только глухой. Топор отскочил. На белом не осталось ничего.

Пастух не обернулся. Левая лопасть поднялась с коровьей спины, пошла назад и вбок, плавно, лениво, и коснулась Мартина. Мартин отлетел шагов на пять. Упал на спину. Поднялся на колени. Правая рука висела у него под углом, под каким руки не висят.

«Внимание. Хищник у стада, — сказал пастух. — *Просим хищника покинуть пастбище. Благодарим за понимание».*

Мартин стоял на коленях в снегу и смотрел на руку. Не кричал. Смотрел, будто его обманули.

Мужики встали. Колья опустились. Смотрели теперь все на Ровена.

— Это он, — сказал кто-то. — Это он открыл.

— Бесноватый. Нарочно открыл.

— Хенк! Ты кого позвал? Ты кого позвал, Хенк?!

— Он же их к реке погнал, ты глянь, глянь!

— Колоть его, чего смотреть…

Вилы. Трёхзубые, с черенком, отполированным до блеска. Зубья смотрели Ровену в живот, с трёх шагов. За вилами лицо, молодое, бородатое, с мокрыми глазами.

Ровен шагнул назад и остановился. За спиной был пастух и луг до самой реки.

Его не били с девяти лет, Хальс не позволял. Зато чужих побоев он насмотрелся вдоволь, на кухне и во дворе, и знал, что делать, когда замахнулись. Не оправдываться. Называть цифры.

— Кривуша у брода — корове по колено, — сказал он. Голос дрожал, и он не стал его держать. — Ребёнку — по грудь. Через десять минут в такой воде у ребёнка перестают слушаться руки, через двадцать — сердце. Лекарский справочник, том второй. Заколете меня — ваши дети будут в воде через пять минут. Не заколете — может быть, нет.

Вилы не двинулись.

— Может быть, — сказал парень с вилами, и зубья качнулись вперёд. Через овчину Ровен почувствовал три точки, одну под рёбрами. — Слыхал, Хенк? Может быть, говорит!

— Может быть, — повторил Ровен. — Больше я вам ничего обещать не могу. Я его первый раз вижу.

— А Венс…

— Венс помер, — сказал Хенк. Он подошёл, тяжело дыша, и положил руку на черенок. Просто положил. Черенок опустился. — Делай. Делай, чтец. Ради Хозяев, делай что-нибудь.

* * *

Делать было нечего.

Пастуху можно сказать «тум» хоть сто раз и сто раз получить холод в ладонь. Чужой приказ перебивает только тот, чей круг выше.

Ровен пошёл за стадом, быстрым шагом, сбоку, шагах в десяти, и слушал.

Пастух пел не переставая. Для заброжцев это было бормотанье, ровное и ласковое, как у старухи над прялкой. Для Ровена — слова, и слова шли кусками, повторялись, рвались, начинались снова. Он хватал их, терял, хватал другие.

«Время водопоя… Скот следует к сигналу водопоя… Сигнал обнаружен. Дистанция двести сорок… Просим скот не отставать… Дистанция двести…»

Сигнал водопоя.

Ровен поднял голову. У брода на белом столбе горел светец, яркий, белый. Зажёгся он, когда открылись ворота загона. Пастух шёл к нему. Не к реке, не к броду — к свету. Шестьсот лет назад ему сказали: водопой там, где горит этот огонь. Где река, пастух не знал.

Светец — первый круг.

— Хенк! — крикнул Ровен через плечо. — Сколько от столба до воды?

— Шагов десять! Пятнадцать!

К столбу, выходит, можно подойти на тридцать шагов, не входя в воду. Стаду до столба двести шагов, ему двести двадцать, и последние тридцать можно не проходить. Сто девяносто. Коровы идут шагом.

Он побежал.

* * *

Коровы шли по прямой, а он бежал по дуге, краем луга, где снег был глубже и под ним попадались камни. Упал, ободрал ладони о наст, встал. Плечо дёргало в такт шагам. Перед глазами плыли зелёные круги, те же, что у решётки.

Рядом кто-то бежал. Пим. Без шапки, лапти в снегу, лицо белое.

— Назад, — выдохнул Ровен.

Пим не ответил и обогнал его.

Сто восемьдесят. Справа, совсем близко, мычали коровы, от боков шёл пар. Он видел детей. Пятеро, в платках, в тулупах не по росту, один совсем маленький, в шапке с ушами. Девочка, Мартинова младшая, Лиска, та, что кашляла с обеда. Она кашляла и сейчас, громко, сипло, на каждом шаге. За руку её держал мальчишка постарше, держал и тащил, а лопасть пастуха лежала у него на спине.

«Сигнал водопоя. Дистанция сорок. Скот, приготовиться к водопою».

Передние коровы вошли в воду. Вода у берега чёрная, с ледяной кромкой, и кромка хрустнула под копытами. Пастух подвинул стадо лопастями, мягко, и в воду вошли следующие, и с ними двое детей. По колено. По пояс.

Сто девяносто. Ровен остановился, потому что дальше не мог. Столб со светцом стоял впереди и левее. Тридцать шагов? Тридцать пять? В темноте, со светом в глаза, не разобрать. Ольден писал «тридцать шагов» про ровный пол в кабинете.

Он вытянул палец.

— Сэл тум.

Холод.

Не дошло. Далеко. Холод ушёл в ладонь, как вода в песок, и с реки закричала девочка в шапке с ушами. Вошла и она.

Он прошёл пять шагов. Шесть. Под ногами хлюпнуло: берег. Он поднял руку.

— Сэл тум.

Тепло.

Светец погас. Разом, без искры. Берег провалился в темноту, и сразу стало слышно всё: мычание, плеск, кашель, чей-то плач, крики заброжцев сверху, с луга.

«Сигнал водопоя не найден, — сказал пастух тем же ласковым голосом. — *Стадо, ожидайте. Просим сохранять спокойствие».*

Он остановился. Лопасти замерли на спинах. Коровы стояли по брюхо в воде и дальше не шли: их никто не гнал.

Дети стояли среди коров, по пояс. Один мальчишка — по грудь.

* * *

Пим вошёл в воду раньше, чем Ровен успел открыть рот. Пошёл прямо в стадо, между коров, к девочке. Лопасть пастуха шевельнулась. Ровен ждал удара. Удара не было.

«Отставший скот обнаружен, — сказал пастух. — *Скот, присоединяйтесь к стаду».*

Лопасть легла Пиму на спину, мягко, и подвинула его к остальным, как телёнка. Пим не упирался. Он нашёл девочку, подхватил под мышки, поднял из воды, сколько смог, и прижал к себе. Девочка перестала кричать и закашлялась.

Отставший скот. Найден, присоединён к стаду.

— Чтец! — орал с берега Хенк. — Чтец, они ж стоят! Он их держит! Он их так и будет держать?!

Будет. Пастуху сказано: стадо ждёт сигнала. Сигнала нет. Он будет ждать, пока сигнал не найдётся. Хоть до утра. Коровы до утра простоят. Дети — нет.

— Чтец! Ты оглох?!

— Тихо, — сказал Ровен. — Дайте послушать.

Раз есть сигнал водопоя, есть и другой. Загон пастух как-то находил.

Ровен закрыл глаза. Пастух пел тихо, на одной ноте, по кругу. *«Стадо, ожидайте. Сигнал водопоя не найден. Сигнал загона: неактивен. Стадо, ожидайте».*

Сигнал загона: неактивен.

Он открыл глаза и посмотрел вверх, на луг. Загон светился вдали, белый на тёмном. Ворота стояли нараспашку. На правом воротном столбе, наверху, сидел колпак. Такой же, как на этом столбе у брода. Он не горел.

Два огня, два столба. Окольцованный отпирает ворота — значит, утро: загорается огонь у брода, стадо идёт пить. Вечером огонь у брода гаснет, загорается огонь на воротах, стадо идёт спать. Шестьсот лет ворота отпирали утром. Ровен отпер их вечером, и пастух сказал ему «доброе утро».

До ворот было триста шагов. В гору. По снегу.

— Хенк! — крикнул Ровен. — Держите детей над водой! Вилами, слегами, чем угодно, только коров не трогайте! Пастуха не трогайте! И чтоб никто его не бил!

— А ты?

— А я наверх.

* * *

Как бежал, он не помнил. Помнил, что на двухстах двадцати шагах упал лицом в снег и пролежал удара три-четыре сердца. Снег был холодный и чистый. Вставать не хотелось.

Лекарский справочник советовал новому носителю покой и тепло. Он встал.

У ворот, где лежала овчина, никого не было. Кто-то из баб успел, пока пастух ушёл к реке, оттащить Грету к частоколу. Теперь её несли в деревню вчетвером. Рука выпала из-под овчины и висела ладонью вверх. Синяя. У хозяина в кресле была серая.

Двести семьдесят. Тридцать шагов до столба.

Ровен вытянул руку к колпаку на воротах.

— Сэл.

Тепло.

Колпак вспыхнул белым. Свет лёг на снег, на ворота, на разбросанное сено в загоне, на топор Греты, так и торчавший из мёрзлой земли.

Снизу, с реки, далеко и мягко, донеслось:

«Сигнал загона обнаружен. Водопой окончен. Просим скот следовать в загон. Ночь начинается».

Ровен сел у ворот прямо в снег, спиной к белому столбу, и смотрел, как внизу у реки расступаются огни факелов. Из темноты выходили коровы, мокрые до хребта, от них валил пар. Между коровами шли дети. Шесть. Пять своих и Пим, с девочкой на руках. Пастух шёл позади, лопасти на спинах, маска наклонена, и пел:

«Просим скот не отставать. Благодарим за спокойствие».

Стадо вошло в загон. Ворота закрылись сами, плавно, без скрипа. Щёлкнул замок.

«Доступ закрыт. Хорошей ночи».

Пастух встал у ворот. Маска повернулась и посмотрела сквозь Ровена, туда, где начинался луг. Наверное, ждала волков.

* * *

Хенк пришёл к загону минут через десять, мокрый по пояс, с Мартином. Мартин держал правую руку левой и молчал. За ними шли остальные. У частокола стояли бабы, человек двадцать, одна плакала громко, взахлёб, остальные её держали.

— Они опять там, — сказал Хенк. — Опять. В загоне.

— Живые, — сказал Ровен.

— Мокрые. Мороз. Ночь. — Хенк смотрел на загон. — До утра они так…

— Знаю.

У частокола одна из баб стаскивала с себя кофту и пыталась пропихнуть её в щель под оградой. Кофта застревала. Коровы греют, но коровы тоже мокрые.

Ровен встал и пошёл вдоль ограды. Белая, гладкая, тёплая под рукой. Тёплая.

Он остановился и приложил к ограде ладонь. Левую, с сеткой.

Ограда была тёплая, как бок у живого. Глубоко под ладонью что-то гудело. И был голос, совсем тихий, из ограды, из земли, из всего загона разом. Ровен не слышал его до сих пор, потому что громче пел пастух:

«Температура в загоне ниже нормы для скота. Обогрев отключён. Для включения обогрева обратитесь к смотрителю».

Обогрев.

Хозяева не держали скот зимой в сарае на соломе. Хозяева грели загон снизу, как спальню Хальса, где под полом гудели две грелки. Смотритель для загона — любой, у кого кольцо.

— Хенк. Он что, бывал тёплый? Загон?

— Тёплый? — Хенк уставился на него. — Бывал, при деде ещё. Венс летом чего-то там шепнул, и всё, остыл. А зимой мы в него не гоняем, на кой… Этих девять с отавы прихватило, с детьми вместе.

Грелка — первый круг.

Ровен прижал ладонь к ограде.

— Ирт.

Тепло в ладони, слабое, от остывшей кружки. Соли оставалось мало. Чем он это чувствовал, он объяснить бы не смог.

Гул стал громче. Через минуту от земли в загоне пошёл пар. Снег на сене потемнел и растаял. Коровы переступили с ноги на ногу, одна легла.

«Обогрев включён. Температура будет повышаться постепенно. Благодарим за заботу о скоте».

— Ирт ло-сэл, — сказал Ровен. Тридцать вторая страница третьего тома: «тепло до света». До утра. Ладонь опять ответила теплом. Этого он уже не ждал.

Сзади молчали. Потом Хенк сказал:

— Тёплый. Пол тёплый. Мать честная.

Ровен промолчал.

* * *

Ночью он сидел у ограды, шагах в десяти от ворот, спиной к белому, гладкому, тёплому. Жена Хенка, Марта, принесла миску каши с салом и кусок хлеба. Он съел всё, достал из-за пазухи мешочек Гаспара и съел ещё три грамма соли. Потом достал книжку.

«День 5, ночь. Слов: 6 (+ло). Команд всего: 17, прошли 13. Отказы: пастух — круг; светец у брода — дальность. Горячую съел у ворот. Соль в теле: меньше грамма. В мешке: 6 г. Жар 38,9. Ошибка: открыл загон вечером. Пастух решил, что утро».

Последнюю строку он перечитал и вычёркивать не стал.

Внутри, за оградой, кто-то завозился в сене. Потом в щель под оградой, в ладонь высотой, у самой земли, просунулась рука. Детская, грязная, тёплая.

— Ты тут? — спросил Пим шёпотом.

— Тут.

— Тут тепло. Лиске лучше. Она спит. Остальные тоже спят. — Пим помолчал. — Он со мной не поздоровался. Я думал, поздоровается. А он: «Скот, присоединяйтесь к стаду».

— Он тебя не видит, — сказал Ровен. — Видит, что ты дышишь и двигаешься. Как корова.

Пим помолчал ещё.

— А нас он тоже скотом считает? Дядьку Хенка? Мамку?

— Да. Всех.

Рука под оградой пошевелила пальцами в тёплом сене.

— А тебя?

Ровен поднял голову. У ворот, в десяти шагах, стоял пастух. Стоял боком к лугу, ждал волков. Маска его при этом смотрела на Ровена, и в прорезях тлело золото, совсем немного, как угли под пеплом.

Так он стоял весь вечер. Ровен увидел это только сейчас.

— А меня, — сказал Ровен, — он считает хозяином.

Глава 7. Книга загона

Пол в загоне остыл с первым светом, ровно когда обещал. Ровен проснулся от холода в спине и от голоса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.